

ВЛАДИМИР ПОРУДОМИНСКИЙ ПРОБУЖДЕНИЕ ВО СНЕ



International

Literary

magazine

Владимир
ПОРУДОМИНСКИЙ
ПРОБУЖДЕНИЕ
ВО СНЕ

БИБЛИОТЕКА «КРЕЩАТИКА»
ПОЕЗІЯ, ПРОЗА, ПУБЛІЦИСТИКА



ДРУКАРСЬКИЙ ДВІР
ОЛЕГА ОЗЕРОВА

Владимир
ПОРУДОМИНСКИЙ

ПРОБУЖДЕНИЕ
ВО СНЕ

Друкарський двір
Олега Федорова
Київ, 2024

УДК 821.161.1'06(430)-31
П 60

СЕРІЯ «Бібліотека «КРЕЩАТИКА»»
Заснована у 2023 році

*Фото на обложке
работы Д. Захарова*

Порудоминский В.

П 60 Пробуждение во сне / В. Порудоминский — Друкарський
двір Олега Федорова 2024 — 240 с.

ISBN 978-617-7955-72-5

Это книга — о детстве. Явившись на свет, ребенок с первого вздоха начинает вбирать в себя жизненный и житейский опыт этого мира; для него начинается, как и для первого сотворенного человека, нескончаемый процесс познания Добра и Зла.

УДК821.161.1'06(430)-31

Корыто — первое, что увидели мои глаза.

Марк Шагал

Когда же я начался? Когда начал жить?

Лев Толстой

СТРАННИКИ

«Эта ночь межевою вехой пролегла между беспмятностью младенчества и моим дальнейшим детством».

Борис Пастернак

ВЫБИРАЯСЬ ИЗ НЕПОСТИЖИМОСТИ

«От пятилетнего ребенка до меня только шаг. А от новорожденного до пятилетнего — страшное расстояние. От зародыша до новорожденного — пучина. А от несуществования до зародыша отделяет уже не пучина а непостижимость».

Лев Толстой

Няня большая и мягкая. На голове всегда сверкающе чистый белый платок. Она сидит за столом, пьет чай с молоком из большой, широкой фаянсовой чашки с нарисованной на ней розой. Иногда она наливает в эту же чашку водки. Сидит, пьет водку небольшими глотками, как горячий чай. Мама очень любит няню. Мама говорит: «Вот ведь нянечка наша, пьет и не морщится!» Няня отвечает степенно: «Если морщиться, то зачем пить».

Радио — плоский конус репродуктора из черной бумаги — стоит недосыгаемо высоко, на буфете. Посредине конуса маленький никелированный кружок. Мне кажется, что в этом кружке спрятан крохотный человечек, он-то и произносит слова или исполняет музыку. Няня пьет чай с молоком или водку, посматривает на кровлю буфета и ругает радио: «Учи, учи, меня, старую, как картошку сажать!» Однажды, когда в комнате никого нет, я взбираюсь на обеденный стол — радио сразу оказывается страшно близко — и, пристально глядя в блестящий кружок, всем существом ощущая этого сидящего внутри маленького человечка (я и сейчас, когда пишу, каким-то внутренним взглядом то ли вижу, то ли чувствую *его*, чер-

ную личинку, подсматривающую за мной, что-то мне твердящую сквозь булавочную дырочку в центре кружка), отчаянно кричу прямо в лицо чем-то мешающему мне человеку: «Дурак!» Кричу — и тотчас скатываюсь вниз, забиваюсь под стол, жду, трепеща, откуда-то свыше неременной кары.

Любимое блюдо — жареный на сковородке хлеб, посыпанный сахарным песком. *Гринки*. Именно так: с *и* посредине, не *гренки*, а *гринки*, и ударение в конце: *гринки́*... Няня жарит хлеб на сковородке, я посыпаю сахарным песком хрустящие ломти; запиваю несладким чаем. Хлеб иногда черный, иногда белый или серый. Какой есть. Какой *дают*.

Продукты *дают* в магазине на Садовой. Все окрестные магазины имеют у хозяек свои особые названия. *Газовый* (потому что здесь распределитель для рабочих недалекого газового завода), *стеклянный*, *угловой*. Наши карточки прикреплены к *магазину на приступках*. Няня кладет листки карточек с торчащими зубцами еще не оторванных талонов в потертый кошелек, кошелек прячет в белый бумазейный мешочек, который держит за пазухой, где колышется ее большая мягкая грудь, берет клеенчатую кошелку и мы отправляемся на Садовую за продуктами.

Мы с Аликом идем впереди, а сзади идут няни, моя и его няня, Паша, скуластая, с хитрыми глазами, разговорчивая. Мы с Аликом идем рука в руку, радуемся пробегающим мимо со звоном и стуком высоким красным трамваям, лошадям, запряженным в извозчицьи пролетки и грузовые телеги, несчастным автомобилям. Недалеко от угла, где улица вливается в Садовую, поликлиника — на белых матовых стеклах краснеют кресты, которые нам с Аликом очень нравятся. Проходя мимо, мы размахиваем сцепленными руками и громко распеваем: «Красный крест... Трасный трест... Красный треск...»

На Садовой стоят деревья, не нынешние, по тротуару, — старые, в центре улицы: их посадка и обозначила Садовое кольцо, когда сожженная Москва начала отстраиваться после 1812 года. Здесь со всех сторон гудят автомобили, пугая ло-

шадей и где попало перебегающих полосу улицы прохожих, мы то и дело вздрагиваем от резкого, вдруг раздавшегося где-то совсем рядом гудка.

Возле магазина *на приступках* автобусная остановка, и надо непременно дождаться автобуса, чтобы посмотреть на него. Иногда автобуса приходится ждать долго. Мы упорствуем, не хотим домой, няни грозятся уйти, оставить нас одних, — тогда татары (или китайцы) нас непременно *украдут на мыло*. Сомнений в том, что это не пустая угроза, что детей *крадут на мыло*, нет никаких.

Чадя синим дымом, автобус тормозит у тротуара, огромный, как слон, красный, неуклюжий, с выдвинутым вперед радиатором, сверкающим никелированной решеточкой. Из его нутра, толкая один другого, торопливо вываливаются пассажиры, тут же вливаясь в толпу, спешащую по тротуару, а на их место, образуя кипящие телами воронки у входных дверей, внутрь автобуса врываются новые, не уместающиеся, гроздьями, держась за поручни, повисают на подножках, водитель — шофёр (чаще слышишь — шофер), — сжимая ладонью резиновую грушу клаксона, дает гудок, красная громада, отъезжает прочь, тяжело выворачивая на середину проезжей части.

Всех знакомых мальчиков, и меня тоже, водят стричься к парикмахеру Алеше. Парикмахерская налево от наших ворот, по ту сторону улицы, в угловом доме, и вход прямо с угла. Тесное помещение, одно кресло перед зеркалом. Когда приходится стричь мальчика, Алеша кладет на ручки кресла, поперек, специальную доску, чтобы выше сидеть; под ноги на кожаное сидение подстилает половичок. Всех мальчиков стригут одинаково — под челку (*подчелку*): сзади и с боков снимают пониже, а спереди, над лбом, оставляют побольше. Алеша совсем молодой, у него кудрявые каштановые волосы, добрые глаза, он все время улыбается. У меня к нему — что-то вроде влюбленности. Я радуюсь, когда он подхватывает меня и — уух! — одним махом сажает на высокую доску. Я восторженно смотрю на него в зеркало, на его кудри, на его улыбку, хоть и страшновато немного, когда он, приглядываясь, похаживает вокруг и для чего-то всё время звонко щелкает в воздухе ножницами вокруг моей головы.

Ко дню рождения няня подарила мне аляповато раскрашенную глиняную фигурку — кудрявый мальчик в белой рубашке и ярко-синих штанах стоит на зеленом кусочке травы, в руке у него городошная бита, возле ног две-три громоздящихся одна на другую чурки. Я тотчас влюбляюсь в мальчика и называю его Алешей. Мне представляется, будто он и в самом деле точь-в-точь наш парикмахер Алеша. Я ставлю фигурку на мамин столик с круглым зеркалом — столик величаво именуется у нас *трюмо* — рядом с синей вазой, где лежат мамини бусы, одни из мелкого, как просо, жемчуга, другие — коралловые, розовые. Когда я смотрю на раскрашенного глиняного мальчика, у меня радуются глаза и сердце; иногда я незаметно для других целую его.

Приходит Манька, громко и противно смеется, обнажая десны (у нее черные, будто стертые до середины зубы), тычет пальцем в городошные чурки у ног Алеша: «Это он накакал, да? Смотри, какую кучу наклак!» Я кричу в ярости: «Дура! Дура!» Слезы на глазах, сейчас зареву, но нельзя — стыдно. «Говяжки! Говяжки! — дразнит Манька. — Наклак, а теперь размазывает. Вон палка длинная в руке». Я в отчаянии. Я не могу поверить, и, чувствую, в мире что-то изменится к худшему, если поверю, что Алеша, не глиняный, мой, настоящий, любимый, сидит на стульчаке, а няня твердит ему из-за двери: «Дуйся, дуйся!» (я всегда сижу в уборной один, стесняюсь на глазах, дверь притворяю, запираю на крючок запрещают). Если поверю, что так же сидят в уборной няня, мама, папа, вожди, чьи портреты развешивают на улицах по праздникам, Пушкин... У меня в книжке с его сказками — картинка: Пушкин на скале у самого синего моря. «Пушкин — лягушкин! — гогочет противная Манька. И чтобы совсем меня добить: — Какушкин!»

Манька — она пятью годами старше меня — нянина родственница, няня говорит: «племянница», живет в детском доме, где-то под Москвой. Мои родители называют ее Маней, Манечкой и сердятся, когда я так не называю. Но няня —

только Манькой. И я следом. Какая она Манечка? Как есть — Манька. Когда приходит старушка-портниха Пульхерия Андреевна, няня дает ей перешить на Маньку какое-нибудь из маминых платьев. Манька вертится перед круглым зеркалом, радуется обновке. «Кобенись, балерина!» — сердится няня. Манька, не стесняясь меня, стаскивает платье. Я жадно смотрю на ее набухшие с кулачок груди, на ее бедра, перехваченные резинками черных сатиновых трусов.

Мы с Манькой играем в детский дом. Манька, конечно, воспитательница. Она пишет на листах бумаги лозунги: «Кто не работает, тот не ест!», «Руки мой перед едой» — вешает на стены. Мне нравится. Но няня сердится: «Без плакатов полопаешь, не треснешь. Сними сейчас же!» Я не пускаю Маньку снимать — так интереснее. Няня, что делать, соглашается. Ворчит: «Нашлась, большевичка!»

Изредка откуда-то из Тамбовской губернии (няня упорно говорит по-старинному: не область — *губерния*) приезжает Манькин отец, Никифор, то ли младший брат няни, то ли племянник. Он совсем не похож на няню — маленький, чернявый: черные глазки, встрепанная бородка. Няня встречает родственника сурово: «Вшей не привез?» Не пуская Никифора далеко за порог, укладывает в сумку папино белье, мыло, мочалку, отправляет его в баню.

Вечером Никифор, приглаженный и чисто поблескивающий после бани, сидит за столом, рассказывает маме и папе про деревню. Няня наливает ему водки в стопку, себе — в свою чашку. Папа пьет из рюмки, совсем немного. Водка у папы золотисто-желтая, густо настоящая на лимонных корочках. Няня такую не любит: говорит, что корочки отбивают у водки запах и вкус. Беседа длится долго, мне скучно, я не понимаю, о чем говорят взрослые, и Никифор, поначалу нечто новое и редкостное, становится привычен. Няня уводит меня спать. Прежде чем уложить в постель, она подхватывает меня на руки, прижимает к теплой груди, звонко целует в обе щеки.

У нас есть диван для гостей, но няня стелет Никифору на полу. «Не барин!» Утром я бегу посмотреть, как он спит, но

матрас уже свернут, папа с мамой на работе, няня и Никифор сидят за столом пьют чай. Никифор собирается навестить Маньку. Няня припасла для нее какую-то одежку, что-то вкусное, складывает в кошелку. Для самого Никифора няня присмотрела в старых вещах давнюю папину белую фуражку — я и не видел, чтобы папа когда-нибудь надевал ее. Никифор, довольный, смотрится в зеркало: «Чисто белый офицер!» Няня недовольно на него шикает: «Бреши больше!»

Баня от нас недалеко. Красноармейцы из казарм, что на бульваре, ходят в баню строем. На них длинные шинели, остроконечные шлемы. Они поют бодрую песню, четко отбивают шаг. В руке у каждого белеет узелок с бельем. Мне в бане нравится, но меня берут туда редко. Моют на кухне в корыте. С мамой и няней я с некоторых пор в баню идти не хочу, а папа, как полагают мама и няня, непременно что-нибудь напутает. Однажды надел на меня в бане штаны, а поддеть вниз трусики позабыл. В другой раз не пристегнул резинки, и я пришел домой со спущенными чулками.

Мне хочется идти в баню с красноармейцами, бодро шагать и петь песню. Вот они как раз проходят под окном. Я тяну няню: скорей, скорей, пока красноармейцы еще не ушли далеко. Но няне некогда. «Да ты что! — пугает она меня. — Солдаты увидят, такой малый хороший, враз заберут». — «Да это не солдаты — красноармейцы». — «Всё равно заберут». — «Куда?» — «На войну. А на войне дело такое: и оглянуться не успеешь, убьют. Вот у меня в Нарве солдат был знакомый; ушел на войну — и убили». Про этого солдата я уже знаю. На него с четырех сторон выскочили конные с саблями: трех он застрелил, а четвертого не успел, и тот ему голову долой. «А твой солдат красный был или белый». — «Не всё равно? Расейский». — «Если красный, то красноармеец», — толково объясняю я.

Меня постоянно кто-то должен *забрать*. Солдаты, милиционер, дворник, комендант, возчик, который привозит товар в домовую лавку, старьевщик. Только и слышишь: *заберут, заберут*.

Старьевщики-татары ходят по дворам: «Старье берем! Старье берем!» За спиной мешок. Огромный. Страшный. В такой можно троих, как я, упрятать. Если изловчится, засунет в мешок, — конец, никто не отыщет. И всё же мы, дети, бежим следом, на безопасном расстоянии, дразним: «шурум-бурум, шурум-бурум!» Старьевщик вдруг неожиданно поворачивается, делает большой шаг нам навстречу: ху! Мы с визгом рассыпаемся кто куда.

Китайцев мы тоже побаиваемся. Китайская прачечная находится в переулке позади нашего дома. Худощавые китайцы разносят в плетеных корзинах белье. Ребята, увидев китайца, кричат: «Ходя, ходя, соли надо?» Китайцы сердятся. Няня рассказывает. Если китаец где умрет, не дома, его отовсюду везут к себе, в Китай, хоронить. На чужбине не хоронят. А чтобы не испортился, пока везут, в ящик насыпают соль. Вот и получается: если китайцу говоришь: «соли надо?», то это вроде: чтоб ты помер.

Я выбегаю на минуту из ворот, которые выводят в переулок (у нас во дворе их называют задними), в конце переул�ка вижу китайца в синей рубахе с корзиной и кричу негромко, так, чтобы получилось, будто крикнул, и чтобы он не услышал: «Ходя, ходя...» Кто-то сзади крепко берет меня за локти, поднимает высоко вверх, поворачивает в воздухе. Прямо передо мной круглое желтоватое лицо китайца. Мне так страшно, что даже нет сил вырваться. Китаец внимательно смотрит мне в глаза и вдруг улыбается. Улыбается раскосыми до висков глазами, большими белыми зубами. «Ходя, ходя, пароходя!» — весело говорит он и бережно ставит меня на землю. Я очертя голову, бросаюсь обратно во двор, к няне.

По двору бегаёт мальчик Григо (наверно, *Грегор*), он года на два старше меня. У него светлые волосы, длинные, не постриженные *подчелку*, на носу очки. На Григо клетчатый свитер, какого нет больше ни у кого из детей во дворе, брюки ниже колен, подхваченные тугими манжетами. Не то, что мои короткие штаны на пуговицах; как только сядешь, из-под них

вылезают резинки с пряжками, удерживающие чулки. Я скандалю, требую длинные брюки, мама нипочем не соглашается. Няня заодно с мамой: «На что тебе длинные? Ты в своих штанишках, гляди, чистый американец». «Тогда пусть такие, как у Григо!..» Григо и в самом деле иностранец, его отец — заграничный специалист, приехал к нам работать. «А чего в них хорошего? — не соглашается няня. — Как у запорожского казака. А у тебя, гляди, какие складные. И ножки видать, что прямые». С Григо хорошо играть. Он всегда улыбается, никогда не спорит. По-русски Григо понимает плохо, и вообще он очень смешной. Увидел портрет Ленина: «Он — хороший человек?» Мы прямо попадали со смеху.

В квартире с балконом, где теперь живет Григо, раньше жил немец Макс Иванович, тоже заграничный специалист, с женой Лидией Ивановной. Макса Ивановича все во дворе любили. Он был добрый, со всеми здоровался. С дворником Афанасием он здоровался за руку. Протягивал ему руку и ждал, пока Афанасий оботрет свою о фартук и протянет в ответ. Если мы играли в мяч, а он проходил мимо, он непременно подбегал и поддавал мяч ногой. Он и сам был, как мяч, толстый, с круглой лысой головой. Его жену, Лидию Ивановну, дети звали тетей Лидой. Она была очень добрая. Часто, когда кто-нибудь из детей оказывался у нее под балконом, она спускала на нитке прямо в руки конфету, какую-нибудь игрушку, занятную вещь. Тоньке Ананьевой однажды достался плавленый сырок, обернутый в золотую бумагу. Никто из нас плавленых сырков до того и не видел: их продавали в магазине *Торгсин* — торговля с иностранцами — недалеко от нашего дома, из ворот налево, не доходя до кинотеатра. Тонька слопала сырок сама, никому не дала и попробовать, обертку засунула в рот, будто у нее золотые зубы, и говорила, что она — *буржуй*.

Однажды к родителям пришла знакомая, тетя Юля, и принесла в подарок коробочку с плавлеными сырками — из *Торгсина*: шесть выложенных кружком треугольничков в золотой бумаге. Сыр был приятно солоноватый, тающий во рту, как масло. Няня и попробовала его, как пробовала масло, которое приносила Маша-молочница: отковырнула ногтем от тре-

угольничка маленький кусочек, положила на язык, почмокала. Долго облизывала единственный, торчащий спереди во рту зуб: «Чего сыр плавить? Баловство одно. А то так не съедят...»

Потом Макс Иванович заболел и умер. Мы смотрели, как его хоронят. Он лежал в гробу, накрытый кисеей. Его круглое лицо было желто, как дыня, и обсыпано красными точками. Вскоре после похорон тетя Лида уехала к себе в Германию. Толстая Клавдия Семеновна, продавщица из домовой лавки, с которой все во дворе очень считались, сокрушенно подвела итог: «Вот беда. Здесь вдова, а там фашисты».

«А что за граница? Здесь ли, там ли, всё одним небом покрыто. Я, молодая была, из деревни уехала, потом тридцать лет в Нарве на мануфактуре работала. Считалось *Расея*. Теперь — за граница. Нарва-то».

Няня пьет чай из своей большой чашки с розой на боку. Единственным зубом она с непостижимой ловкостью удерживает, прикусив, маленький кусочек сахара. Мне очень хочется научиться как няня — непонятно каким образом отхлебывать из чашки чай, чтобы сахар, как приклеенный держался на губе, но у меня ничего не получается: кусочек падает то на стол, то в рот, напитывается влагой, тает на губе.

Сахар называется *колотый*. Его *дают* в магазине большими, неправильной формы, как булжники, кусками, потом колют тесаком из темного металла. За ручку один конец тяжелого тесака поднимают вверх — другой конец его подвижно прикреплен к доске — потом резко опускают вниз, подставив под лезвие кусок сахара. Получившиеся куски поменьше колют щипцами вовсе на маленькие кусочки.

«А чего там, в Нарве? Опять же люди, дома. У нас мастер был Август Густавыч. Ничего, хороший человек. И посмеется, если что. Только чтобы везде порядок. Как увидит какой непорядок, слова не скажет, пальцем ткнет, считай — вычет. Придешь жалованье получать, полтинника и не досчитаешься. А жалко. Деньги-то дорогие были. На девять копеек наешься — полное брюхо. И чистоту любят. Лучше недоедят, недопьют, лишь бы чисто. А так всё одно».

У тети Лиды была собачка — резвый шпиц Бони, белый с черным угольком-носиком и черными глазками, все во дворе называли его Бобкой и весело с ним играли. Уезжая, тетя Лида почему-то не могла взять его с собой и пыталась пристроить к кому-нибудь. Я не давал маме покоя — очень хотелось Бобку. У меня и книжка была — из самых любимых — «Бобкин день», написана от имени собачки, которая сама про себя рассказывает. Мама уже склонялась, не взять ли, пусть ребенок общается с животным, но няня — ни в какую. «Еще чего! Собаку в доме держать. От них, от собак одна грязь. Гулять с ним ходить. Не пойдешь — на пол нагадит. Охота за ним дерьмо убирать. Да и на что он? Ни дом стеречь, ни в лес на охоту. Только шерсть, да лай, да беспокойство». Я сердился: «Ты, няня, злая!» Няня отпивает из кружки. «Видал! Злая! Вот сейчас пойду, возьму чёрта этого лохматого, а завтра разбуду тебя чуть свет, еще мать с отцом спят, ботинки, пальто надену — и гуляй с ним, пока нагуляется. И кучи за ним подбирай. А то дворник Афанасий выйдет двор мести, он тебя быстро умудрасту научит». Няня злая, конечно. Но и собачку отчего-то уже не очень хочется. Так никто из дворовых Бобку и не взял. Лидия Ивановна отдала его куда-то в другое место. Я слышал, няня говорила маме: «Ей уже на вокзал, а он всё под ногами вертится. Кому он нужен-то. Баловство одно. Сунула Афанасию рублевку, он и унес». Афанасий, когда видел Бобку, смеялся: «Хорошая шапка бегаёт». Может быть, из Бобки сделают теперь шапку, и Афанасий будет в белой пушистой шапке подметать двор. А может быть, еще хуже — на мыло. Жалко Бобку. Но — не очень долго.

Зато у нас появляется белая с серыми пятнами кошка — Борька. Кошка, а не кот. Но сначала не разобрались и назвали Борькой. А когда разобрались, уже привыкли, что Борька. И кошка привыкла. И няня отрезала: «Ишь, цаца, — два раза ее крестить!» Няня и кошку не хотела, но мама очень боится мышей, а няня очень любит маму. Кошка была уже взрослая, Афанасий где-то подобрал. Няня сразу сунула ее в таз и стала мыть порошковым зеленым мылом. От блох. Кошка орала и

вырывалась. Няня показала маме руки: «В кровь изорвала, холера!» Мама бросилась за йодом. Но няня лекарств не признает. Полизала царапины языком и прижгла водкой. Пообещала: «Проку с нее не жди. Жрать не давать — ослабнет или воровать начнет. А нажрется, мышей ловить не будет».

Но однажды утром я просыпаюсь. Уже светло. Взрослых никого. Только Борька неподалеку от моей кровати исполняет какой-то необычный танец — прыгает то вперед, то вбок, бегаёт туда, сюда, перебрасывая в лапах маленький серый мешочек, подкидывает его и снова ловит, крепко прихлопнув лапой к полу. Я понимаю, что это мышь, и несколько минут, замерев, наблюдаю извечную, как сама жизнь, игру. Заметив мое внимание, Борька, зажав несчастную жертву в зубах, скрывается под маминой кроватью. Я слышу хруст косточек и довольное урчание.

Няню кошка боится, но уважает больше, чем всех остальных. Никогда без разрешения не прыгает ей на колени, — а хочется. Выгибая спину, кружит возле нее, трется ей об ноги, заглядывает в глаза. «Шут с тобой, — говорит няня. — Лезь, пока я добрая». Борька тут же оказывается на ее просторных теплых бедрах, обтянутых мягкой бумазеей платья, вытягивается, откидывает голову, чтобы почесали шею, сладко мурлычет. (Я-то знаю, как тепло и уютно сидеть на руках у няни, когда она кормит тебя, или натягивает тебе чулки, или рассказывает что-нибудь.)

Сказки няня не рассказывает. Мальчик-с-пальчик или «Мерзни, мерзни, волчий хвост» — это бабушка, мамина мама. Бабушка живет в Сибири. Она приезжает летом, мы встречаем ее на вокзале и везем к нам домой на извозчике. На вокзальной площади стоят такси — открытые газики или форды, в плохую погоду водитель натягивает над кузовом брезентовый верх; но бабушка такси не любит. Извозчик, конечно, не автомобиль, но тоже очень хорошо. Лошадь цокает копытами по бульжнику, впереди на козлах высится кучер, за его спиной мы трое, бабушка, мама и я, теснимся на мягком кожаном сиденье, сзади широкими ремнями пристегнут бабушкин ба-

гаж — огромный, как сундук, кожаный чемодан и затянутый в парусиновый чехол тюк с постелью: в поезде из Сибири ехать четыре ночи, нужно брать с собой и тюфячок, и подушку, и одеяло. Фаэтон слегка покачивается, бабушка, чтобы не выпал на ходу, держит меня сзади за ремень, который называет *кушаком* (у бабушки вообще много своих слов), встречные мальчики и девочки, идущие по тротуару, смотрят на меня с завистью (так мне кажется), и я, проплывая мимо, одариваю их благосклонным взглядом. На даче бабушка ходит в лес по грибы, приносит между прочими и грузди, которые мало кто берет из-за того, что они *сопливые*, и печет с ними особенный солоноватый на вкус пирог.

Сказок няня не рассказывает, зато память у нее полнится разными историями, почище любой сказки. «Расскажи про Глухова-купца», — прошу я.

Глухов-купец был у няни еще *на родине*. *На родине* — это территория, годы, события — вся нянина жизнь до Нарвы и затем Москвы.

«Это еще на родине было, — начинает няня. — Глухов-купец. Иван Григорьич. Жадный. Копейки не уступит. А сам всё норовит подешевше, а то вовсе даром. Толстый. Пузо вот такое...»

«Как у Гезенцвея?» — спрашиваю я.

Гезенцвей — толстый аптекарь, который живет во втором подъезде. Когда, расстегнув пальто и тяжело отдуваясь, он идет по двору, мы, дети, пристраиваемся ему вслед и передразниваем его походку и дыхание.

«Какой! — машет рукой няня. — Толще!»

«Как Паташон?»

Пата и Паташона я видел в цирке, мы ходили с папой.

«Да ты что! Этот Паташон рядом с ним — во!»

Няня показывает мизинец. Хотя Паташона не видела.

«Вот такой был толстый!»

Няня широко обводит вокруг себя руками.

«А то еще другой был, Полушкин Иван Степаныч. Приятель его. Этот трактир держал».

«Тоже толстый?»

«Худой. Всю жизнь при еде, а худой, как жердь. Вот позвал он Глухова-купца в гости. Стол накрыт. Чего только нет! У меня, говорит, нынче именины, и у тебя именины — оба ведь Ивановы — ешь, что хочешь. Раньше, знаешь, как ели! Было б на что. Не по карточкам. Вот Глухов-купец и взялся есть (няня говорит: *йсьть*)...»

Загибая пальцы, няня начинает перечислять, что ел Глухов-купец. Я внимательно слежу, чтобы она не пропустила чего: «Ведь он, няня, еще и винегрет ел. И кисель. Помнишь, говорит: *Ах, кисель! Давай сюда киселя*?.. Наконец, дело доходит до сладкой пшенной каши. Это блюдо мне хорошо знакомо. Меня, как и многих детей с нашего двора, сладкую пшенную кашу научила есть старушка портниха Пульхерия Андреевна. Пульхерия Андреевна ходит по домам, поправляет и перешивает старые вещи. Во дворе ее прозвали *Тютелька в тютельку* — так она сама обозначает умелую точность своей работы. Примерит на тебя какую-нибудь рубашку, перешитую из маминой кофты, склонит голову набок, дряблые бледные щечки расплзаются в улыбке: «Погляди только — тютелька в тютельку». Кроме небольших денег, Пульхерии Андреевне полагается сладкая пшенная каша с хлебом — каждый день. Вот такую пшенную кашу, хорошо мне известную, подают у Ивана Степаныча к концу трапезы. Глухов-купец, как увидал горшок с кашей, прямо задрожал от жадности. Жена ему говорит: «Не довольно ли тебе, Иван Григорьевич?» А он только ложкой на нее замахнулся: «Не лезь не в свое дело, не то лоб расшибу!» Подвинул к себе горшок и давай прямо из горшка большой ложкой. Ну, одну ложку проглотил, другую, третью, а после пятой, глядят, вдруг посинел весь, глаза выкатил — и лопнул. «Как лопнул?» — непременно, хоть и несколько испуганно, требую я подробностей. «А так и лопнул, вдоль пуза, пополам. Как арбуз. Как сюртук на нем расстегнули, так и посыпалось». И няня начинает перечислять, что посыпалось, а я снова слежу, чтобы чего не пропустила. Пока всего не назовет, до сладкой каши. «И умер?» — всякий раз с опаской, хотя знаю ответ,

спрашиваю я. «Помер, — сокрушенно соглашается няня. — Позвали было доктора пузо зашить, да больно велико — ниток не хватило»...

Еще у няни *на родине* был непутевый *малый* Ладя. Дурачок. Ему что ни скажут, а он только «ладя, ладя». Значит: ладно. Однажды злые ребята встретили Ладю на мосту: «Купаться будешь?» А он: «Ладя, ладя». Ну, они его и подхватили да в чем был с моста в реку и бросили. А глубоко! Еле вытащили.

Но всего чаще достается мне слышать от няни про Гришку Кочеткова. Когда я начинаю вырываться и не даюсь стричь ногти, когда не хочется мыть ноги или споласкивать под красном испачканные в игре руки, няня говорит: «Что? Будешь ходить, как Гришка Кочетков?» Этот Гришка ногтей никогда не стриг, бороду не брил, рук-ног не мыл, а ходил всегда босой. Руки-ноги черные совсем, а ногти — во! Няня показывает на полметра от концов своих пальцев. Однажды папа находит в книге фотографию руки чернокожего колдуна из какого-то дикого племени. Ногти у колдуна и в самом деле такой длины, как показывает няня, и к тому же закручены штопором. «Точь-в-точь Гришка Кочетков!» — радуется няня. Я с недоумением разглядываю фотографию.

«Да как же он делал что-нибудь с такими ногтями?»

«А чего ему делать? Он и не делал ничего».

«Ну, одевался?»

«Он и не раздевался».

Да, ногти, похоже, придется постричь.

На праздники к чаю мой любимейший фруктовый торт — в красное желе впечатаны кусочки засахаренных фруктов. «Вот это да! — говорит Никифор. — Раньше, поди, только царь ел». Он держит в руке кусок торта и внимательно его разглядывает. «Нам, малым, мать, бывало, ломоть вареной свеклы отрежет, и вся тебе сладь». Это он мне. У него маленькие, глубоко упрятанные, даже не поймешь, какого цвета, глаза. Мне стыдно оттого, что я ем торт, которого Никифор

в детстве не ел. В надежде исправить положение, я перебираю в памяти любимые — по моему разумению, деревенские — лакомства.

«А дыни у вас были?» — спрашиваю я.

«Не было», — говорит Никифор.

«А виноград?»

«Что ты! Какой! Вот яблоки, это, конечно, были».

«А почему же вам мама яблоки не давала?»

«Чего их давать-то? Видал, угощенье! Вон на дереве висят. Рви — не хочу»...

Няня пальцем подергивает губу, напевает: «Треньди-бреньди, балалайка, не жена моя Паранька, моя Катенька, бела, гладенька». Приходит Манька, поет по-своему: «Моя Катенька, брюхатенька». И показывает руками живот, точно у Глуховакупца. Няня слышит, замахивается на нее: «Губы оборву поганые!» Что это она рассердилась? Ведь, и правда, смешно. Когда няни нет в комнате, я тихонько пою: «Брюхатенька!» и протягиваю вперед руки, обозначая живот. Мы с Манькой переглядываемся и прыскаем.

Куклы у меня две — бархатный шоколадного цвета негритенок Том и резиновая Катька. Том — свой брат, мальчик, сорванец, матрос и акробат. У него круглая матросская шапочка с синим помпоном, он к тому же отчаянно раскачивается на игрушечных качелях и, кувыряясь в воздухе, прыгает со стола на пол, как тот акробат, которого мы с папой видали в цирке. Катька — просто голышка, которая ничего не обозначает, кроме того, что она девочка. И делать с ней, в общем-то, нечего, разве что надеть на нее какое-нибудь платье, которые наскоро шьет ей из лоскутков Манька, но это не моя, это девчачья игра, или заставить ее плавать в корыте, когда няня купает меня на кухне.

Ко мне в гости приводят девочку Ирку с нашего двора. Мы играем с ней в дочери-матери. Она — мама, я — папа, Катька и Том — наши дети. Мы оборудуем себе удобную комнату под нашим обеденным столом. Низко свисающие края скатер-

ти создают ощущение огороженного, отделенного от прочего мира пространства. Няни в комнате нет — гремит в кухне тарелками. Мы кормим детей обедом из игрушечной посуды, потом укладываем спать. Дети засыпают. Мы с Ирккой сидим под столом и шепчемся о чем-то. «Хочешь, я тебе попку покажу?» — вдруг предлагает Ирка. Я вижу, как в полутьме блещут у нее глаза. У меня сохнет во рту, я киваю молча. Она быстро спускает трусики, ложится на живот и задирает платье. Я вижу Иркину пухленькую белую попку, протягиваю руку и глажу ее кончиками пальцев. «Вы что там затаились?» — кричит их кухни няня. Ирка испуганно натягивает трусики и снова, как ни в чем не бывало садится против меня. Но игра уже не клеится. Няня велит вылезать из-под стола и поит нас чаем с вареньем. Потом приходит Жека, Иркина тетька, и уводит Ирку. Я извлекаю Тома и Каткку на свет Божий, намереваясь играть один, но игра не получается.

Я держу Каткку в руках, глажу пальцами ее резиновую попку, живот и то место внизу живота, где сходятся ее резиновые ноги. Всё во мне вдруг замирает от какого-то прежде неизведанного ощущения, сердце прыгает вниз с крутой горки, в животе страшно, будто натворил что-то и собираются наказывать, и в штанишках какой-то непорядок. Всем существом я чувствую, что должен совершить нечто, но откуда мне знать — *что*. Я вдруг хватаю Каткку за ноги, раздвигаю их и — откуда только сила взялась! — начинаю разрывать пополам плотное резиновое тело куклы. Мне становится страшно от того, что я делаю, я хватаю растерзанную Каткку и заталкиваю — дальше, глубже — за буфет. Теперь никто не узнает, что произошло. Старинный дубовый буфет никто никогда не сдвигает с места. Даже полотер Василий Терентьевич.

Полотер Василий Терентьевич приходит раз в месяц. У него бледное длинное лицо, тощая шея, висающие усы. Еще в передней он снимает ботинки и носки и высоко, до колен подворачивает брюки. Его босые ноги, как и его руки, желты от вьезшейся в кожу мастики. Густая рыжая мастика разво-

дится в большом ведре, которое Василий Терентьевич приносит с собой. Василий Терентьевич намазывает пол мастикой, потом надевает на одну ступню небольшую жесткую щетку с ремненным, как у лыжи, креплением и начинает втирать мастику в положенный четырехугольниками паркет. Его движения создают особый, исполненный живой, веселой энергии танец. Босой ногой он ловко переступает туда-сюда, другая же, с прикрепленной щеткой, ритмично и стремительно летит вперед, назад, вправо, влево. Когда я смотрю на него, мне кажется, что я слышу музыку, под которую он танцует. Вещи в комнате словно с ума посходили от этой музыки. Стулья взобрались на стол, стол по мановению руки Василия Терентьевича лихо скользит в угол, тяжелое папино кресло мечется по комнате, словно спасаясь от преследования разыгравшегося полотера. Я сижу на диване и жду своей очереди. «Прокатите, Василий Терентьевич!» — канючу я. «Сейчас прокатим!» *И... и... и...* Полотер наклоняется, подхватывает обеими жилистыми руками диван из-под низу и швыряет его прочь от себя. Диван, описав круг, мчится к противоположной стене. У меня дух замирает, я визжу от восторга. Василий Терентьевич между тем, протанцевав на том месте, где прежде стоял диван, снова подхватывает его и бросает обратно. *А... а... ах!..*

Черный конус радио на буфете трудится, не умолкая. Если играет музыка, чудится, будто Василий Терентьевич танцует именно под эту музыку. Или, может быть, это музыка возникает в лад его танцу. Если разговоры, Василий Терентьевич иногда останавливается на минуту, поднимает узкое лицо и прислушивается, о чем говорят. Когда что-нибудь интересное, он, бывает, слушает подольше, даже папироску закурит, передыхая, осторожно держит ее в испачканных мастикой пальцах. Однажды мы с Василием Терентьевичем слышим удивительную историю: какой-то важный начальник сидит у себя в кабинете без головы; голова же его стоит рядом с ним на столе и ругается. «Как это? — спрашиваю я изумленно. — Как же это, Василий Терентьевич?» Василий Терентьевич неодобрительно смотрит вверх, на громкоговоритель: «Смотри ж ты!» Он выдыхает из себя длинную струю серого дыма.

«Американцы, говорят, машину придумали — сама посуду моет. Кто их знает!» Он тычет окуроч в пепельницу, широко взмахивает рукой и снова начинает свой танец.

Когда работа закончена, полотер сидит с няней за столом. Няня поставила перед ним кое-какую еду, хлеб нарезан большими ломтями. Она наливает из графина ему в стакан, себе в чашку с розой. Они молча кивают друг другу головой и неспешно пьют. Я вползаю к няне на мягкие теплые колени. «Няечка, — сообщаю я потрясенно, — по радио сказали: человек сидит за столом, а голова отдельно — и ругается». «Слушай их больше! — няня тесно прижимает меня к мягкой теплой груди и целует в макушку. — Они скажут!» «Эти сочинят! — вторит ей Василий Терентьевич. — У них не задержится». Няня снова наливает ему и себе из графина.

Предъявляя кому-нибудь, няня слегка подталкивает меня вперед, гладит большой ладонью мою стриженую *подчелку* голову и говорит, не скрывая тщеславия: «Он у нас грамотный. Какую книгу ни дай — читает гладко. А писать начнет — загляденье». Сама няня грамоте не знает — ни писать, ни читать. Если нужно подписаться, она ставит крестик.

Не помню, как я научился читать: рано и будто само собой. Вдруг — читаю. И кажется — всегда умел.

Мама рассказывает: «Зашла к Ольге (это Алика мама) Алик твой совсем как большой: сидит за столом, есть морковные котлеты и газету читает». Здесь двойной удар: я газет не читаю и терпеть не могу морковные котлеты. Растревоженный духом соревнования, беру газету, разбираю несколько заголовков — нет, не интересно! Лучше любимые сказки.

«Про дурака про этого почитай. Который всё невпопад», — просит няня. Я открываю потрепанный том Андерсена. Наша любимая сказка про дурня Ганса, как он, изготовляя жаркое, положил в деревянный башмак дохлую ворону и полил ее грязью вместо соуса. Няня слушает, подперев пальцем мягкую щеку. Она любит, чтобы читал я медленно, с остановками, и со своей стороны приправляет текст разными словечками и примечаниями. Когда я разгоняюсь, чтобы выказать умение или потому что надоело читать и хочется побыстрее

кончить, она прикрывает страницу большой ладонью: «Не части». Любимую мамину сказку про Дюймовочку няня терпеть не может. «Виданное ли дело — слепой крот девку в нору затащил. Зачем тебе про это читать. Брехотню такую».

Еще я читаю няне письма *с родины*. Приходят они редко, и, когда письмо приходит, мы перечитываем его несколько дней подряд и по несколько раз в день. «Что там *с родины*-то пишут?», — спрашивает каждый раз няня, вынимая из кармана фартука уже замусолившийся конверт. Письма *с родины* обычно не длинные. Они написаны печатными буквами, которые няня называет *квадратными*. Приветы и поклоны, две, хорошо три без подробности сообщенных новости и снова приветы и поклоны. Сколько бы раз ни читалось письмо, няня будто слушает его впервые и сопровождает всякую новость одним и тем же, однажды и навсегда вынесенным заключением. «Смотри ж ты, замуж вышла! Вот ведь кобыла здоровая. А я всё думаю — сопливая чумилка». Или: «Отмучился, значит. Ну, не всякому век вековать. Царствие ему небесное!». Через день-другой ее заключения кажутся мне уже необходимой частью самого письма, оно перестает для меня существовать без них. Дойдя до соответствующего места, я спешу напомнить ей: «Видишь, какая она кобыла здоровая!».

Тотчас по получении письма я начинаю беспокоиться об ответе. «Давай писать *на родину*», — по три раза на дню дергаю я няню. «Успеется, — сдерживает она мой пыл. — Без нас не напишут». Мы загодя подробно обсуждаем содержание ответа. «Не забыть, когда будем *на родину* писать», — согласно предупреждаем мы друг друга, едва возле нас происходит что-то на наш взгляд значимое. Но когда мы начинаем трудиться над ответом, наши заготовки, к моему огорчению, отпадают одна за другой. «Да на что им! — машет рукой няня. — Они там про такое и не слыхали никогда... Напиши: живы, здоровы — и будет с них». А у меня такой большой лист бумаги, и я так старательно его (хоть получилось вкривь и вкось) разлиновывал! «Няня, давай еще что-нибудь напишем!» — канючу я. «Ну, напиши, если невтерпеж», — со-

глашается няня. И я приписываю, тщеславясь и предполагая, как они там, *на родине*, будут дивиться, что мы ходили на Чистые пруды кататься на верблюде.

Мама сердится, когда видит написанное мною письмо. Ей не нравится, что линейки вкривь и вкось, что мои *квадратные* буквы все разного роста, нескладные, заваливаются набок, пляшут, что лист перепачкан чернилами. Она приносит чернильницу, ручку с пером, тетрадь в клеточку: «Давай, нянечка, новое письмо писать». Но няня не соглашается: «Нет, ты так не напишешь. У тебя почерк некрасивый, мелкий, как зубы у мыша. А уж *тот* начнет строчить (это она про папу) — леший не разберет».

На Чистых прудах катают детей на верблюдах и осликах. Ослики запряжены в тележку, но можно и верхом. Служитель ведет ослика за уздечку, и он покорно следует за ним по песчаной дорожке берегом пруда, и дальше вдоль ограды бульвара до того места, где бульвар вливается в мощеную булыжником площадь у Мясницких ворот, и оттуда обратно, уже другой стороной, огибая пруд, — и так круг за кругом. Иногда ослик вдруг останавливается, сильно вытягивает вперед шею, недовольно задирает верхнюю губу, обнажая большие желтые зубы, и начинает громко, прерывисто кричать. Есть что-то непривычное, нездешнее в этом крике. Мы и пугаемся, и хохочем, одновременно, а служитель сердито тычет ослика в шею рукояткой кнута. И такое же нездешнее угадывается в горбоносой физиономии верблюда, как-то брезгливо отводящего взгляд от нас, похоже, нежеланных для него седоков. Возле верблюдов мы ведем себя смирно: говорят, рассердившись, он может на тебя плюнуть — и противно будет, и все к тому же будут над тобой смеяться. Через горбатую спину верблюда перекинуты широкие ремни, на каждом боку у него подвешена прямоугольная люлька, в которую лицом друг к другу сажают двоих детей. На верблюде совсем не то, что на ослике: высоко, далеко видно и страшновато, оттого что чувствуешь силу животного и собственную незащитность.

Мы с Аликом сидим друг против друга на скамеечках в ярко расписанной люльке, выкрикиваем восторженную, лишённую смысла и мотива песню, — оттого, что тебя подняли высоко над землей, возникает ощущение полета и простора, совсем рядом за чугунной оградой бульвара, скрежеща по рельсам и высекая синие искры из провода, пробегают, обгоняя нас, сцепленные по два большие красные вагоны трамвая «А», и мы с нашей высоты видим лица пассажиров в окнах вагонов, машем им, кричим какие-то глупости, некоторые проезжающие мимо улыбаются нам, помавая рукой.

Няня и Паша, не доверяясь служителю («Угонит куда-нибудь ублюдка своего — и поминай как звали!») — Паша подозрительно щурит и без того узкие, острые глаза, поджигает тонкие губы), совершают вместе с нами всё путешествие, следуя за верблюдом. Паша, поджарая, легкая, ступает бойко; няня, задыхаясь, едва поспевает за ней. Это несколько убавляет мою с Аликом радость: других детей старшие не сопровождают, и нам стыдно. Когда круг завершен, няня принимает меня из люльки в свои мягкие объятия. Перед тем, как идти домой, мы, будто прощаясь, обходим *нашего* верблюда. Няня, пошарив в кармане, находит залежавшуюся там карамельку и, видно, не решаясь сама предложить ее верблюду, протягивает служителю. Тот кладет конфету на темную ладонь, верблюд, даже в знак благодарности не удостоив нас взгляда, смахивает ее висячей губой.

«Тоска им, поди, день-деньской вот так по кругу, — говорит няня. — У себя, небось, к простору привык».

«Да у них там тоже смотреть не на что, — возражает Паша. — Я два года под Астраханью жила, знаю. Степь одна, ничего кругом, сухая трава да колючки».

«Ничего нет, а свое. А здесь чужое всё — камень, трамвай... Не приведи Бог».

Под нами живет инженер-химик Каштанов. У него на двери повешена белая эмалированная табличка, на табличке написано: «Инженер-химик А. Каштанов». Во дворе его почему-то никто не называет по имени и отчеству: все — *инженер-химик Каштанов*, или просто *Каштанов*, или *инженер-химик*.

Когда няня видит в кухонное окно, что он возвращается домой, она говорит: «Вон инженер-химик уже с работы пришел, а *нашего* всё нет». Это она сердится, что наш папа всегда опаздывает, всегда где-то задерживается. «Придет, я уж ему *выговорю*», — обещает няня.

Папа очень рассеянный. Пойдет за хлебом, встретит по дороге приятеля, заговорится с ним, заглянет к нему — да и просидит до вечера. А потом еще и удивляется, когда няня ему *выговаривает*: как? разве он ходил за хлебом?

Инженер-химик Каштанов худой и длинный. У него клетчатая куртка и желтая кожаная фуражка. Я спрашиваю няню, чистит ли он фуражку ваксой, как чистят ботинки. «Есть такая вакса особенная, *Миньон*», — со знанием дела объясняет няня. На длинных ногах инженера-химика Каштанова желтые, как его фуражка, кожаные краги. Завидев инженера-химика, дети во дворе кричат: «Мистер Смит! Мистер Смит!.. В почтовой синей кепке, а сам он вроде щепки...» Но инженер-химик Каштанов идет себе, не обернется, и в зубах у него дымится трубка.

Жена у Каштанова тоже очень худая. У нее длинный тонкий нос и большие черные глаза. Она, так же, как ее муж, быстро проходит по двору и ни с кем не разговаривает. Про нее известно, что она балерина и армянка. Няня говорит, что армяне очень умные. «Вот дядя Рубен. Как придет, сядет чай пить, всё и вывалит — и что есть, и что будет. Заслушаешься». Дядя Рубен, приятель мамы и папы, появляясь у нас, снимает полувоенный френч, остается в галифе и белой рубашке, переkreщенной подтяжками, и затевает со мной французскую борьбу. Схватка обычно длится очень долго. Но в конце концов дядя Рубен укладывает меня на обе лопатки, садится ко мне на грудь, достает из кармана галифе коробку папирос, спички, берет в рот папиросу, чиркает спичкой о подошву своего сапога и закуривает.

Когда заходит речь о Каштановых, мама обиженно пожимает плечами: «Странно все-таки. Сколько лет живем в одном подъезде, даже не знаю, как их зовут». «А что тебе за радость знать? — отзывается няня. — Понадобится, спросишь. Им надо будет, сами скажут».

Однажды рано утром я сижу на коленях у няни, ем жареную картошку и запиваю ее сладким чаем. Еще совсем темно. В черном стекле окна отражается стол, и над ним оранжевый абажур, и няня в белом платке и мягком бумазейном платье, коричневом с цветочками. И я тоже отражаюсь, как я сижу у няни на коленях и пью чай. И еще я отражаюсь в блюдец, когда я наклоняюсь над ним, чтобы отхлебнуть чаю. Папа ушел на работу: ему далеко — в Сокольники, мама пока дома, но уже на одной ноге (так она называет) — в прихожей у зеркала, висящего над комодом, пудрит нос и красит губы. Вдруг раздается резкий звонок в дверь. «Кого это несет в такую рань?» — няня поворачивает лицо к двери. Мама щелкает замком. На пороге стоит жена Каштанова, балерина и армянка, на ней пальто, накинутое прямо на ночную рубашку, босые ноги засунуты в мягкие домашние туфли с помпонами. «Скорее, — тянет она маму за рукав. — Алексею Борисовичу с сердцем плохо». Мама бросает на комод картонный тюбик с помадой и выбегает на лестницу. «Да, припекло, — говорит няня. — Ну, да Бог милостив. Мама-то у нас, знаешь, какой доктор. Она ведь и на войне доктором была».

Мама скоро возвращается. Лицо у нее странное, какое-то очень спокойное, будто лишенное всякого выражения. «Умер, — спокойным, не своим голосом произносит она, присаживается к столу, закуривает папиросу и смотрит мимо нас с няней в окно, за которым уже начинает светлеть. — Взяла за руку, пульс пощупать, два-три раза стукнуло — и всё, тишина». Она потыкала папиросой в пепельнице. «Надо бы с ней посидеть, да и так уже на работу опоздала». «Живой ходил, никого подле не держал, а помер, может, найдется, кому посидеть. Вот тебе и инженер-химик», — говорит няня. Мама надевает пальто, целует меня в макушку и идет к двери. «А жену его Гаянэ зовут», — оборачивается она уже на пороге.

Мы с няней остаемся вдвоем. «Нянечка, — говорю я, — что же теперь будет?» — «Да теперь-то уже ничего и не будет, — говорит няня, — похоронят — и все дела. Это пока ходил в фуражке-то своей да трубкой пыхтел, тогда было, а теперь уже ничего не будет». — «Его в землю закопают?» —

«Как захотят. Нынче вон и сжигать стали. Тогда, значит, в трубу уйдет. А только, если умер, на земле больше делать нечего, беспрерывно прочь уберут». Мне страшно, оттого что внизу, под нами лежит мертвый инженер-химик Каштанов в своей клетчатой тужурке, фуражке и крагах. Из-за этого я не могу придумать, во что мне играть и стараюсь не ступать громко. Во двор мне тоже не хочется, потому что надо пробегать мимо двери инженера-химика, а там, за дверью с белой табличкой, лежит он сам, мертвый. «Нянечка, — спрашиваю я, — а ты умрешь?» — «А как же. Конечно. Все кверху носом належимся». «И мама?» — подбираюсь я к цели. Няня недовольно сопит и повторяет коротко: «Все». «И я?» — наношу я главный удар. «Пошла сорока якать! — сердится няня. — Давай ко мне садись, будем на родину письмо писать. Заждались, небось...»

Вечером, поздно — мы уже попили чаю — в дверь снова звонят. «Надо же, кто ни свет ни заря, а кто на ночь глядя» — ворчит няня и идет отворять. В дверях стоит Гаянэ. «Можно к вам? — спрашивает она. — Одной, знаете, не по себе как-то». Мама ведет ее к столу, наливает чаю. «У Алексея Борисовича нет никого — объясняет Гаянэ. — А мои далеко. Когда еще доедут». Папа откладывает газету: «Вы мне ключ дайте, я пойду с ним посижу. Тоже нехорошо одного оставлять»...

Наши соседи, Александр Игнатьевич и Мария Алексеевна, — няня называет их *Игнатъичи* — верят в Бога. Папа говорит, что не верит. Няня смеется: «А, может, Он в папу в нашего верит, — какая разница». «Нянечка, — пристаю я к ней, — а на самом деле Бог есть?» «У кого есть, у кого поменьше, а у кого и совсем нету», — удивляет меня ответом няня, а сама всё посмеивается. «Вот у *Игнатъичей* Бог есть, — говорю я. — Они уже совсем старые. И у них в углу икона. К ним даже священник приходит. Я сам видал». «Мало ли кто чего видал! — сердится няня. — Видал — и держи при себе. Язык-то не распускай».

С Марией Алексеевной я занимаюсь немецким. Няня сопровождает меня на занятия, хотя всего пути — перебежать лестничную площадку, сидит напротив за столом и, одобри-

тельно кивая, слушает, как я путаюсь в неправильных глаголах. Мария Алексеевна, маленькая, как воробей, с седым хохлом, недовольна мной. «Вот мы сейчас няню спросим, — строго стучит она сухоньким пальцем по тетради, где ее красивым круглым почерком написаны примеры. — Няня, конечно, запомнила и ответит правильно». Няня, кажется, и вправду пугается, что ее спросят: «Что вы, Мария Алексеевна. Я ведь и грамоте не знаю. А он у нас мальчик умный». «Умный! — хмыкает Мария Алексеевна. — Не может запомнить, что в имперфекте *e* меняется на *a*».

Однажды, когда я сижу у Марии Алексеевны, — наш урок затянулся немного — раздается быстрый звонок в дверь. «Всё, всё, — торопливо говорит Мария Алексеевна, — собирай скорей тетрадки и марш домой». Мне обидно, что меня гонят. Александр Игнатьевич, такой же сухонький и седой, как Мария Алексеевна, появляется из своей комнаты и спешит отворять дверь. В переднюю входит какой-то человек, и я сразу понимаю, что священник. На улице иногда встречаются священники — их сразу узнаёшь по длинному до земли черному пальто, черной шляпе, бороде, волосам до плеч. Вот и этот снял шляпу, развязал шнурок на прятанной под шляпой косичке (очень смешно: взрослый дяденька, а косичка, как у нашей Ирки!), встряхнул головой, распуская длинные волосы. Александр Игнатьевич низко перед ним склонился, священник пошевелил перед его лицом рукой, Александр Игнатьевич поймал его руку и поцеловал, как папа целует знакомым дамам, потом выпрямился, и они три раза поцеловали друг друга в щеки. Мария Алексеевна что-то шепчет няне на ухо, няня кивает: «Вот только его отведу». Когда мы идем к двери, Александр Игнатьевич строго грозит мне пальцем. Священник улыбается и гладит меня по голове. «Ты посиди один, поиграй, — просит няня, — а я схожу послушаю. Я скоро». «Ты молиться пойдешь?» «Схожу», — повторяет няня. Она подходит к зеркалу и заново повязывает на голове свой белый платок. «Только смотри, помалкивай! Чтобы никому!» — предупреждает она меня. «Да знаю, знаю», — обижаюсь я. Но спрашиваю на всякий случай: «И Алику?» «И Алику». «И маме?»

«Маме я сама скажу». «А если узнают?» «Не приведи Бог! Узнают, так и заберут». «*Игнатъичей?*» «Всех, кто под руку попадет, тех и заберут». Я жду няню, мне страшно, мне чудится: двор наш заполняется милиционерами в синих гимнастерках, красноармейцами в остроконечных шлемах с банными узелками под мышкой, старьевщиками с мешками за спиной. Няня скоро возвращается. «Ой, нянечка, ты уже?» «А чего долго церемониться. У Бога народу много». Она лезет в буфет за графином. «Ладно, помолилась, теперь причащусь»...

.....

Няня умерла в тот самый год, когда я пошел в школу.

«1-е сентября — красный день календаря», а она умерла в конце июля, вскоре после моего дня рождения.

В последние два-три года перед ее смертью я вырос, возмужал и проводил с ней вдвоем намного меньше времени, чем прежде. Я вытребовал у родителей разрешение самостоятельно гулять во дворе и жестко оберегал полученное право. Я ссорился с няней, отказывался *брать ее с собой* и, выпутавшись из ее теплых рук, убежал во двор, громко хлопнув дверью. Няня страдала, но еще более тревожилась в совершенной уверенности, что без ее присмотра со мной непременно случится что-нибудь недоброе. Оставшись дома одна, она доставала из буфета графин и чашку с розой на боку, поднимала глаза к черной площадке громкоговорителя и произносила в незримое для нее лицо диктора Радиостанции имени Коминтерна (так именовалось тогда Всесоюзное радио) все те недобрые слова, которые должна была бы, но по своей великой ко мне любви была не в силах сказать мне. Иногда няня не выдерживала и, желая убедиться, что я еще жив, выходила, не смотря на мои запреты, во двор, якобы погулять с кошкой Борькой. Она брала большой, тугий, как мяч, клубок бельевой веревки, сооружала на конце петлю и затягивала на шее кошки — точно вешать ее собиралась. Предоставляя Борьке совершенную свободу, она степенно прохаживалась по двору, по мере надобности отматывая веревку, иногда останавливалась перебраться с кем-нибудь словечком, между тем как ее зор-

кий серый глаз, посверкивавший под тяжелым веком, цепко выискивал меня, тотчас определял положение, в котором я пребывал, и, если только я хоть чем-нибудь подавал знак, что замечаю ее дозор, ласкал меня, и ободрял, и предлагал помощь. Спустя некоторое время няня, успокоившись, решила возвратиться домой и начинала энергично наворачивать свой конец веревки обратно на клубок, принуждая кошку Борьку возвратиться к ней, не разбирая дороги и с заведомо большей скоростью, чем хотелось бы разгулявшемуся на воле животному. В последнюю свою пору няня очень сблизилась с кошкой и позволяла ей многое, чего прежде и представить себе было невозможно. Когда она сидела со своей чашкой, Борька располагалась на ее мягком плече, урча, терлась головой о нянину шею, а няня вместо того, чтобы сбросить ее, только посмеивалась, даже подходила к зеркалу, висевшему над комодом в прихожей, и весело себя оглядывала: «Ишь, прямо Лелька Шварц!» — Елена Васильевна Шварц, главная в нашем дворе модница, ходила с чернобуркой.

В конце мая мама повела меня записывать в школу. «Ты, главное дело, не стесняйся, — напутствовала меня няня. — Весь товар лицом разложи. И как читать умеешь, и писать, и считать. Пусть-ка еще другого такого найдут». Я, хоть и стеснялся, *разложил товар*: и стишок наизусть прочитал, и таблицу умножения отбарабанил, и какую-то фразу на доске написал, стараясь, чтобы буквы выходили не печатные (*квадратные*), а писчие. Завуч, седая женщина с усталым лицом, махнула рукой, удерживая мою прыть: «Хватит, хватит! С такими знаниями ему в первом классе сидеть незачем. Пусть идет прямо во второй». Няня горделиво сообщала всякому, кому только удавалось сообщить: «Нашего-то, как увидели, прямо во второй взяли. Всё уже знает, сказали. Не был бы мал, его бы в третий определили».

...На три летних месяца мама подрядилась врачом в санаторий на Кавказе и взяла меня с собой. Я впервые надолго расстался с няней. Мама покупала мне почтовые открытки, черно-белые — на фоне ночного темного неба и серебрившегося в лунном свете моря густо-черные силуэты пальм: «На-

пиши няне!» Писать было некогда. Утром я спешил к морю, днем, в самую жару, ничего делать не хотелось, вечером, когда воздух наполнился ароматом южных цветов и пением цикад, я играл с новыми друзьями в санаторном парке, смотрел фильмы под открытым небом, которые три раза в неделю крутил киномеханик, или, страстно любопытствуя, таился в уголке танцплощадки, где отдыхающие (в основном это были металлисты), съехавшиеся со всех концов нашей необъятной родины, разучивали под руководством массовика-затейника Гриши *западные танцы* — фокстрот, танго, вальс-бостон. «Напиши няне!» — приставала мама. Я злился, тянул, наконец хватал открытку и торопливо покрывал отведенное для письма пространство неровными *квадратными* буквами. «Дорогая няня! Как ты поживаешь? Я поживаю хорошо. Какая у вас погода? У нас погода хорошая. — Строчки круто взбирались вверх, сползали вниз. — Я по тебе соскучился. Я тебя люблю». Однажды я нашел местечко, чтобы втиснуть: «Купаешься ли ты в море? Я купаюсь в море». Другой раз приписал прямо под адресом: «Мы ходили в ботанический сад». Когда мы приехали в Москву, все шесть моих открыток стояли прислоненные к стене на комод в прихожей — текстом вверх (!).

...Папа рассказывал в письме, как, возвращаясь с работы, подошел к двери и услышал хриплый испуганный крик кошки. Тотчас заподозрив недоброе, он быстро отпер дверь — няня, мертвая, лежала на полу возле буфета, рядом белели осколки ее чашки с розой, а на груди у няни, разрывая когтями бумазею платья, топталась и неистово орала кошка Борька...

«Тебе няню жалко?» — плача, спрашивала меня мама, кажется, напоминая мне, чтобы пожалел. Я плаксиво морщил лицо, сопел, но слез у меня не было, — мои глаза были высушены сверкающим вокруг солнцем и морской солью. Я стоял перед мамой, старался вспомнить няню и разжалобить себя, но няня, ее большая мягкая грудь, теплые руки, белая косынка, — всё существовало словно где-то в другом мире, который я мог вспомнить, но в котором меня сейчас не было. В том мире, где я пребывал, куда ни повернись, сверкало, двигалось, плескалось солнце, качалось море, волны, пенясь, падали на

разогретую гальку и, шипя, снова отползали в рождавшую их стихию, над дорожками парка лениво и тяжело благоухали розы, сухо шелестели острые, как клинки, листья заросших густыми волосами пальм, а на балконе главного корпуса меня ждала моя ровестница, рыжая девочка Лина (у нее необычное полное имя *Сталина*, которым она гордится), на груди белого чесучового пиджака Лениного папы был привернут орден Трудового Красного знамени, и, когда все отправлялись на экскурсию, он ехал не в автобусе, а в *фордике* директора санатория, с открытым верхом, и сам директор усаживался с ним, и Лина, и однажды меня тоже взяли туда; вечером мы с Линой прибегали на танцплощадку, над которой кружился большой шар, оклеенный кусочками зеркала и освещенный разноцветными фонарями, слушали, отчего-то томящую, музыку западных танцев и тихонько разговаривали о будущем.

К осени мы с мамой вернулись домой. Мы вошли в нашу квартиру, я увидел расставленные на комоды мои открытки, фотографию няни на буфете, и вдруг почувствовал вокруг сумрачную, зябкую пустоту. Папа принес из другой комнаты красный кожмитовый портфель: «Вот, няня купила, тебе в школу ходить». От портфеля резко пахло какой-то химией. «Там еще альбом для рисования, цветные карандаши». Карандаши были в картонной коробке, двенадцать штук. Мама взяла портфель, прижалась к нему лицом и заплакала. За окном послышался гулкий равномерный стук шагов приближающейся военной колонны. Это красноармейцы направлялись в баню. Надо же, а я там, на Кавказе, успел совсем забыть про красноармейцев. Я подошел к окну и стал смотреть. Красноармейцы шагали в остроконечных шлемах, каждый держал под мышкой белый, как нянина косынка, узелок с бельем. «Ты, моряк, хорош сам собою...» — высоким голосом заводил запевала. Остальные дружно подхватывали: «По морям, по волнам, нынче здесь, завтра там...» Я очень любил эту песню.

Меня рано уложили спать, и я, уставший от впечатлений дороги и от перемены мест, тотчас уснул. Я проснулся через несколько часов и не мог понять, то ли ночь по-настоящему еще не наступила, то ли уже утро. Из соседней комнаты до-

носились голоса родителей. Дверь была приоткрыта, я видел густую желтую полосу света, в которой плавал, покачиваясь, папиросный дым. Я вспомнил, что няня уже никогда не войдет ко мне в комнату, как всякий вечер непременно входила, не обнимет меня, не прижмет к мягкой, теплой бумазее на груди, отпуская в сон. Я вспомнил Макса Ивановича, как он лежал в гробу с желтым лицом, вспомнил инженера-химика Каштанова, которых куда-то увезли и зарыли глубоко в землю или сожгли в печке, чтобы *в трубу ушел*. Мне сделалось страшно, я хотел позвать маму, но отчего-то раздумал, встал с кровати, босой тихонько, чтобы не услышали, подошел к *трюмо*, взял глиняного Алешу и, прижав его к себе, снова залез под одеяло...

... Через несколько дней меня отвели в школу. По случаю такого события Пульхерия Андреевна справила мне праздничный костюмчик из какой-то залежавшейся в сундуке старой папиной одежды. Я требовал хотя бы на этот раз длинные брюки, но мама оставалась неумолима. Я появился в школе в коротких штанишках. Мама привела меня за руку. В канцелярии нам сообщили, где находится «2-й Б». Мы шагали по длинному, гулкому от пустоты коридору. У меня в руке был тяжелый, набитый учебниками и разными школьными принадлежностями красный кожмитовый портфель. В классах уже шли уроки. За дверями классов, покрашенных в коричневый цвет, ровно, однообразно стучали голоса учителей. Еще вчера мне очень хотелось в школу, но теперь почему-то стало страшно. «Мама, — попросил я. — Пошли домой». Мама посмотрела на меня виновато: «Ну, что тебе одному дома сидеть? Няни нет. Мы с папой на работе. А к чаю я фруктовый торт куплю». Резко, — показалось, прямо над головой, — заверещал звонок. Я почувствовал, что мама вздрогнула (точно так же, как я). Всё пространство вокруг сразу заполнилось оглушительным шумом. «Новенький! Новенький!» — слышались голоса со всех сторон. Нам навстречу выскочил худенький мальчик с круглой, обстриженной под машинку головой. «Идет слонишка в коротких штанишках!» — закричал маль-

чик. Я выдернул свою руку из маминой руки. «Ничего, ничего, — сказала мама. — Ты, главное, не бойся». Из-за нужной нам двери выплыла грузная седая женщина в черном суконном платье. Это была *учительница первая моя*. Ее звали Анна Гавриловна. «Почему опоздали? — строго спросила она. — Опоздали почему?» Голос у Анны Гавриловны был грубый, басовитый. «Нам сказали, к половине девятого», — с виноватой улыбкой сказала мама. «Вам не могли сказать, *к половине девятого*, мы начинаем в восемь. Вот так с первого дня и приучится опаздывать. Так и приучится». Над верхней губой у Анны Гавриловны темнели довольно заметные с проседью усы. «Вы уж нас простите. Тут какое-то недоразумение, — виновато сказала мама. И быстро прибавила: — По моей вине, конечно». Мне было жалко маму. «Хорошо, можете идти, — сказала маме Анна Гавриловна. — Можете идти». Она положила мне на плечо тяжелую руку и подтолкнула меня к двери класса. Я обернулся. Мама, отступив на несколько шагов, виновато на меня смотрела и махала мне рукой. «Иди, не крутись, — строго сказала Анна Гавриловна и еще раз меня подтолкнула. — Не крутись!» Я перешагнул порог. Передо мной опять возник мальчик с обстриженной под машинку головой. «У него резинки, как у девчонки! — закричал мальчик. — Он лифчик носит!» Под рубашкой у меня, и вправду, был надет ненавистный лифчик. «Михеев! — грозно повысила голос Анна Гавриловна. — Ты у меня поговоришь! Ты у меня поговоришь, Михеев!» Снова резко затрещал звонок. «По местам! — зычно скомандовала Анна Гавриловна. — Быстро по местам!» Дети побежали к своим партам. «Куда ж мне тебя? — озабочилась Анна Гавриловна, больно придавливая рукой мое плечо. — Вон к Фролову садись. — Фролов сидел за партой один. — Садись к Фролову». Я уже успел заметить этого хорошенького смуглого мальчика со светлыми глазами; ребята звали его *Фроликом*. Фролик мне сразу очень понравился. Радостно ему улыбаясь, я приблизился к парте и опустился рядом с ним. Но в последний момент Фролик замечательно изловчился и подставил под меня перо — стальное перо №86, которым тогда писали все школьники, укрепив его в деревян-

ной ручке (*вставочке*). В моем пенале тоже лежало несколько таких перьев. От неожиданности я вскрикнул и подскочил, громко хлопнув откидной крышкой парты. Все вокруг захохотали. «Что там у тебя? Что там еще? — усатым басом спросила Анна Гавриловна. — На ежа наступил?» Я тогда не знал, что Фролов ее любимчик. В классе захохотали еще пуще. «Садись!» — приказала Анна Гавриловна. Я быстро сел. Страх перед учительницей заставил меня забыть об осторожности. Фролик между тем снова очень шустро и незаметно подвел под меня зажатое между пальцами маленькое стальное копьё. И снова я вскрикнул и подскочил, и все принялись громко смеяться, и Анна Гавриловна, как огромная черная туча, надвинулась на меня. «Что случилось, я спрашиваю? — прогремело у меня над головой. — Говори, что случилось?» По моему лицу текли слезы, но я знал, что лучше мне сейчас умереть, чем наябедничать. Я молчал. «У нас все, кроме тебя, октябрята, юные ленинцы, — грохотала Анна Гавриловна. — Юные ленинцы не плачут, нюни не распускают...» Я шмыгал носом, стараясь удержать слезы. «У него чулки на резинках. Он лифчик носит!» — закричал круглоголовой Михеев. «Ты у меня, Михеев, покричишь! Ты у меня покричишь!» — повернулась к нему Анна Гавриловна. Я утирал ладонями мокрые щеки...

«Сегодня у тебя начинается новая жизнь», — сказал утром 1 сентября папа, прощаясь со мной.

ПРОБУЖДЕНИЕ ВО СНЕ

Наде

1

В общей рамке на столе — фотографии родителей. Таки-ми я их не знал. Такими они были до моего рождения — в го-ды Первой мировой войны.

Папа в длинной шинели с погонами капитана медицин-ской службы, с шашкой на боку. Сама шашка под шинелью, ножны пропущены сквозь карман, топорщат сукно полы, из кармана виднеется лишь эфес. Все собирался спросить ко-го-нибудь из знатоков военного обмундирования, почему это, да так и не спросил. После революции папе приходилось пи-сать в анкетах, что служил в царской армии, был офицером. В 1917 году полк, в котором он служил, отвели для перефор-мирования в город Белебей Уфимской губернии. Когда нача-лась гражданская, полк ушел с Колчаком.

В Новониколаевске, как именовался тогда Новосибирск, папа дезертировал; его искали, чтобы расстрелять, но не на-шли. В анкете, однако, приходилось писать, что служил и в бе-лой армии. Это было совсем нехорошо.

Мама на фотографии в длинном свободном платье до по-лу. Снимок сделан в ателье. Мама стоит, слегка опираясь на драпированное тканями кресло, под ногами белая медвежья шкура. Задник изображает скалу, на вершине которой среди темных узких деревьев высится старинный замок. Спереди платье слегка приподнялось и обнаружило мамину ножку в высоком белом ботинке. Мама эту фотографию не любила, потому что у ботинка разорвался шнурок, кончики его торчат,

как муравьиные усики, что, впрочем, можно заметить, лишь при тщательном разглядывании. А я люблю эту фотографию. Мама тогда заканчивала медицинский факультет в Харькове, болела туберкулезом, на снимке у нее красивое, осунувшееся лицо, с яркими глазами. Получив диплом, мама тоже отправилась на фронт, в Турцию, под Трапезунд. После заключения мира она плыла в Батум на корабле, набитом возвращавшимися с войны людьми. Когда корабль вышел в открытое море, солдаты подняли бунт, начали вязать офицеров и бросать за борт. С Кавказа — через кипящую, сорвавшуюся с места и брошившуюся во всех направлениях Россию — мама пробиралась в Сибирь, в Новониколаевск, где жили ее родители.

Почему я выбрал эти фотографии? Уверенно ответить на этот вопрос я не в силах. Может быть, потому, что родители, какими я их помню, живут во мне, в моей памяти. И чем дольше живу я сам, тем яснее, ярче, острее вижу их молодыми, родителями из моего детства. Старые снимки словно продолжают мою память, надставляют ее в прошлое.

Давно ждет объяснения известная загадка стариковской памяти. Вечно ищу только что сброшенные очки, позорюсь, забывая имя человека, которого мне представили четверть часа назад, путаюсь, случается, даже в том, кто из знакомых (а их порядком набралось за прожитые годы и десятилетия) еще обитает в этом мире, а кто уже покинул его, но вот я просыпаюсь ночью, чтобы ополоснуть глотком воды пересохший рот (никогда прежде мне этого не требовалось), или среди бела дня иду по улице города, жителем которого оказался совсем недавно и который обречен быть моим настоящим и никогда — прошлым, и картины иных, давних времен, будто неожиданно, без всякой связи с тем, что я вижу вокруг и о чем только что думал, с поразительно точными, тревожащими до боли подробностями, «околичностями», как говаривали старые русские живописцы, встают передо мною.

Иногда я думаю, что это не мы по собственной охоте или по неосознанному нами «сопряжению далековатых понятий» вспоминаем прошлое, а оно требовательно напоминает нам

о себе. Ведь оно только и живо, пока живем мы, люди его поколения. Нас становится все меньше, и оно сужается, уходит, перестает существовать вместе с нами.

Может быть, из-за того, что я пишу это летом, и в маленьком садике, внизу, под моим окном, пестреют какие-то цветочки, а в соседнем садике семейство часто ужинает на вольном воздухе, гремит посудой и весело разговаривает, а еще дальше, в особняке студенческого ферейна с распахнутыми окнами шумно пьют пиво под наркотическую скороговорку «репа», может быть, из-за этого мне в последние дни часто вспоминается дача, которую мы некогда снимали в подмосковном Пушкине.

Снять «настоящую» дачу, с застекленной верандой, на полу которой солнце, проникнув через цветные стекла в верхней части оконных переплетов, разбрасывает волшебные фиолетовые, красные и желтые узоры, с глубокой нишей балкона на втором этаже, а то еще и с какой-нибудь остроконечной «двоенной» (то есть до Первой мировой войны воздвигнутой) башенкой, у моих родителей не было денег, и нашей дачей был стоявший на пыльной с зелеными травяными островками улице, по которой ходили куры, небольшой дом железнодорожного кондуктора. Кондуктор дядя Вася (он называл себя «главным кондуктором»), высокий, с аккуратно подстриженными рыжими усами, носил темно-синий форменный френч с петлицами, окантованными малиновым шнуром, и в нагрудном кармане свисток на металлической цепочке. Он дарил мне в большом количестве картонные прямоугольники проездных билетов, которыми была набита его кожаная должностная сумка, и я, так или иначе, приспособлял их к своим играм. Я гордился перед детьми других дачников близостью с главным кондуктором.

Зимой семейство кондуктора занимало весь дом целиком, летом лучшую его часть — две комнаты и открытую веранду с палисадником, — выходящую на улицу, сдавало дачникам, а само оставалось в двух задних комнатах с крылечком во двор. Во

дворе находился огород — желтые, ярко заявляющие о себе цветы огурцов и нежный бледно-лиловый цвет картофеля, окаймленные цепким кустарником красной смородины и крыжовника, а за его грядками, на невысоком утрамбованном подиуме дощатая будочка уборной. В палисаднике со стороны улицы были разбиты клумбы — обычные подмосковные дачные цветы: левкой, резеда, мелкая махровая гвоздичка, оранжево-красные бархотки, львиный зев, который интересно было слегка сжать пальцами одной руки и в приоткрывшийся ротик цветка сунуть мизинец другой, белый душистый табак — он раскрывался в сумерках и словно сам собою светился в наступавшей темноте, заполняя воздух тягучим сладким ароматом.

Тем летом в Германии Гитлер окончательно упрочил единоличную власть: в течение долгого дня, получившего имя «ночь длинных ножей» (хоть стреляли больше, чем резали), перебил соратников-соперников; тут же, очень кстати, почил в своем имении престарелый рейхспрезидент Гинденбург, и фюрер без труда присвоил освободившееся кресло. Несколько раньше в Москве собирался съезд партии, названный «съездом победителей» — до победы социализма в отдельно взятой стране, оставалось, оказывается, рукой подать. Товарищ Сталин поднялся за столом президиума с винтовкой, подаренной ему какой-то делегацией, и, под овации делегатов, лукаво улыбаясь, стал целиться в головы сидевших в зале. В ближайшие три года почти все присутствовавшие на съезде, будут уничтожены.

Население между тем долгое время жило возбужденным интересом к судьбе пассажиров парохода «Челюскин» — пароход, незадолго перед тем построенный в Дании, без должной подготовки отправили по Северному морскому пути, чтобы доказать возможность пройти за одну навигацию из Мурманска во Владивосток. В стране началось время рекордов. Рекорды и героизм призваны были подтвердить победу социализма. Судно затонуло, раздавленное льдами, пассажиры высадились на твердую ледяную поверхность океана, кое-как обу-

роились, потом их два месяца понемногу вывозили оттуда самолетами. Скучные тогдашние радиogramмы раздувались в пламенные статьи и очерки о беспримерном героизме советских людей, их печатали газеты, красивыми победными голосами читали дикторы трансляционной сети. Мы знали поименно едва ли не все полторы сотни зимовщиков, были осведомлены об их жизненном пути, характерах, привычках, склонностях, помнили их лица по напечатанным в газетах и журналах портретам, они вписывались чем-то близким до родства в наше сознание и воображение.

Однажды дачный хозяин дядя Вася взял за руки меня и Капку, свою внучку, и повел к железнодорожному переезду — смотреть челюскинцев, которых везли для торжественной встречи в Москву. У шлагбаума собралось много народа. После долгого ожидания показался поезд. Он шел быстро, как курьерский. Толпа у переезда закричала «ура!» Челюскинцы стояли у открытых окон и махали нам руками. Поезд промчался так быстро, что никого не узнать. Народ, возбужденно гомоня, расходился по домам. Мы с Капкой отпросились у дяди Васи и побежали на холм.

Холм поднимался почти у самой линии железной дороги; когда мы взбирались на него, поезда проезжали под нами. С холма далеко были видны убегающие к горизонту рельсы, здесь пахло гарью, разогретой на солнце сталью, просмоленной древесиной шпал, пыльным щебнем. Едва вдали показывался дымок, мы, горячась и споря, начинали угадывать марку паровоза. Кроме того, что паровозы внешне отличались один от другого, на каждом стояли буквы, обозначающие, к какому типу он принадлежит. Имелся, например, паровоз «ОВ», который называли «овечкой», или «Щ» — «щука». Многие имена мы с Капкой придумывали сами. Один из типов паровоза, труба которого напоминала расширявшееся кверху голенище сапога, назывался у нас «сапожок-говняжок». При взрослых это, конечно, не произносилось, но, оставшись вдвоем, мы нетерпеливо ждали, когда, наконец, покажется этот черный дымящий раструб, повторяли в иступленном веселье: «говняжок», «говняжок» и с хохотом валились на землю.

Еще успевший в детстве удивляться и радоваться паровозам, я не могу отвыкнуть от того, чтобы, заслышав гул в небе, не запрокинуть голову, отыскивая в распахнувшемся просторе сверкающий значок самолета. В годы, о которых идет речь, самолет смотрелся редкостью, почти чудом, мы бежали по земле ему вслед и кричали, почти как заклинание: «Ероплан, ероплан, посади меня в карман!» Аэропланы тогда летали обычно маленькие, «У-2», кажется, и летели низко: видны были номера на крыльях, серебристый диск кружащегося пропеллера, темный шарик обтянутой шлемом головы пилота в открытой кабине. Сделавшись взрослым и гуляя за городом со стайкой собственных и соседских детей, я вдруг обнаружил, что из всех нас я единственный, кто, заслышав пролетающий самолет, поднимает взгляд в небо...

...Я понимаю, что все, что пишу здесь, не объяснишь никакими особенностями замысла, требованиями хитро найденной формы и проч. Нет, это прошлое, память моя, «другая реальность», как я ее обозначаю, в которой провожу не меньше времени, чем в реальности настоящего, — это память переполняет меня, рвется вон, стремиться лечь на бумагу — и таким образом пережить меня, оказаться в будущем, в котором мне уже не суждено быть. «Живем прошедшим, словно настоящим, на будущее время не похожим» (*Иосиф Бродский*)...

1 декабря 1934 года, того самого, о котором я пишу, в Ленинграде, в собственной обкомовской резиденции застрелят Кирова, (так таинственно застрелят, что дело и поныне не разгадано). Начнутся годы, которые западные исследователи определяют как эпоху «большого террора». Определение не вполне точное: после революции большой террор не прекращался ни на день, одну коллективизацию довольно вспомнить, чтобы не усомниться в этом. Террор тех лет логичнее обозначить «безумным».

В расстрельных списках ставились уже не имена — цифры: число запланированных убийств на день, неделю, месяц. Наивные жертвы, за несколько часов до того, как получат ку-

сок свинца в затылок, неистовствовали на митингах: «Смерть врагам народа!», не ведая, что накликают приговор самим себе. Палачей, еще не успевших отдохнуть от произведенных за ночь казней, утром ставили к стенке.

Память опять просится на люди, подсказывает эпизод, и я, не в силах сдержать ее напора, хоть и рискую окончательно нарушить стройность повествования, все же его приведу.

Наверно, это было не в 1934-м, годом-двумя позже, но тоже в жаркий летний день: эпизод живет в моей памяти, залитый ярким, горячим солнцем. Моего отца, медика, повезли консультировать «ответственного» больного. Недомогание на сей раз посетил Матвей Бермана, одного из руководителей, если в ту пору уже и не начальника лагерей ОГПУ, то есть — для нас теперь так привычней звучит — ГУЛАГ'а. Не могу объяснить, как это случилось, позже такое стало попросту невысказанным, но отец взял с собой меня. Он хотел одарить меня радостью: не только нынешний мальчик, но и вообще человек более позднего, нежели мое, поколения, не может понять, всем своим существом прочувствовать, что значило для нас, тогдашних детей, «покататься на машине». Не соблазнюсь возвращением к теме: в давнем своем рассказе «Комдив» я написал уже про жившего в нашем дворе комдива (командира дивизии), который, заезжая домой пообедать, приказывал шоферу покатавать нас, детей со двора, на служебном «Линкольне» и как мы бывали счастливы, когда такое случалось (потом комдива уничтожили, конечно). Берман прислал за отцом не «Линкольн», а сверкающий никелированными подробностями, новый темно-василькового цвета «Крейслер». Я мог поспорить с кем угодно, что не только ни один мальчик с нашего двора, но и ни один взрослый его обитатель ни разу не влезал в такой лимузин. Шофер был пожилой, седой, коротко стриженный — бобриком; за всю дорогу он рта не открыл.

Мне почему-то кажется, что «ставка» начальника ГУЛАГ'а, куда нас доставили, располагалась где-то неподалеку от трассы строящегося канала Москва-Волга. Впрочем, подробности пейзажа, видимо, возникли в моем воображении много позже, когда я узнал, что канал, связавший Москву с пятью морями,

о чем тогда любили провозглашать, рыли ээки: лет через двадцать после той истории, о которой намереваюсь поведать, я работал в редакции выходившей на канале (уже на Канале имени Москвы — дурацкое переименование!) многотиражки, — пейзаж этот мне хорошо известен.

Нас привезли к дому с просторной открытой террасой. Дом стоял высоко, и с террасы хорошо смотрелись картинно-красивые окрестности. Отца тотчас увели куда-то вглубь здания. Я остался один на террасе, подошел к барьеру и, сучал, глядя, как из-за протянувшейся вдоль горизонта поросшей лесом возвышенности выплывали на синий простор небелые облака. Из двери, ведущей во внутренние помещения, появилась плотная немолодая женщина в темном платье и белом переднике. В одной руке она несла вазочку, там лежало несколько крымских яблок, удлиненных, с румяной щечкой, и гроздь винограда, в другой руке — поставленный на блюде высокий стакан с лимонадом. «Ешь», — коротко сказала она и снова ушла. Взять яблоко я постеснялся, но лимонад в ту пору для нас, детей, был всегда желанной роскошью. Чтобы не выпить слишком быстро, я, слегка наклоняя стакан, не глотал, а медленно всасывал холодную, чересчур пахучую влагу и, скосив глаза, следил, как из глубины ее выныривают блестящие пузырьки.

Я оставался один недолго. Папа возвратился на террасу в сопровождении хозяина, по-военному подтянутого, с худощавым лицом, полноватыми губами и слегка курчавящимися рыжеватыми волосами. На нем была белая рубашка с засученными рукавами и светлые брюки (я предпочел бы гимнастерку с четырьмя ромбами в петлицах — многим ли посчастливилось видеть командира с четырьмя ромбами!). Человек был весел, белозубо улыбался, пошутил со мной — что-то самое обычное, сразу же не запомнил. Он отодвинул соломенное кресло, пригласил папу присесть перед дорогой. Тотчас возникла женщина в белом фартуке, принесла поднос все с теми же яблоками, виноградом и фруктовой водой, уже в бутылках. Хозяин что-то рассказывал отцу, но я видел, что папа чувству-

ет себя неловко: как и я, он не притронулся к яблокам, даже воду не пил, хотя очень любил ее (мы с ним тайком от мамы бегали пить газировку), — он кивал, слушая хозяина, и неловко отщипывал от грозди длинные зеленые ягоды.

Не знаю, как это пришлось к беседе, в которую я не вслушивался, но хозяин вдруг сказал: «Хотите посмотреть, как меня охраняют?» Я хорошо помню этот вопрос и хвастливый тон, каким он был произнесен, потому что меня поразило то, что произошло тут же, следом. Наверно, под столом имелась какая-нибудь кнопка: слова, что называется, еще висели в воздухе, а на террасе, со всех сторон вдруг выросли рослые люди в военной форме. Берман, прищурясь, провел по ним глазами и махнул рукой: «Все в порядке». Люди исчезли, как в сказках «Тысячи и одной ночи».

Теперь, вспоминая эпизод, я думаю о безумии эпохи и о безумце хозяине ГУЛАГ'а: один из главных банщиков, мыльщик-парильщик в растопленной так, что камни лопались, кровавой бане, он, по высочайшей воле, и уже и по собственной, и вообще не по воле, просто подхваченный этим разогнавшимся вихрем безумия, поддавал в ней жару, и при том, хвастливо улыбаясь, рассчитывал, что благодаря нажатой коленом кнопке или мановению ладони, может, ежели пожелает, уцелеть, не захлебнуться в крововороте. Зная скорую судьбу Бермана, я представляю себе, как несколько месяцев спустя те же крепкие ребята вдруг выросли на террасе, скрутили, увезли и прикончили вчерашнего хозяина. А, может быть, другие крепкие ребята скрутили охранников, которые по таинственному сигналу явились передо мной, и расстреляли их в одно время с Берманом, где-нибудь в соседнем подвале.

Больше в тот день ничего существенного не случилось, если не считать, что на обратном пути, укаченный мягкими рессорами «Крейслера» и разомлевший от жары и духоты, я слегка облевал роскошную обшивку сиденья. Папа оттирал пятно носовым платком и бормотал извинения; седой шофер, посверкивая седым бобриком затылка, утешительно пробурчал что-то в ответ. К моему огорчению, ни «Крейсле-

ром», ни Берманом похвастаться перед ребятами не удалось: родители предупредили меня, чтобы об этом путешествии никому ни слова. А вскоре я уже и сам понимал, что лучше помалкивать.

Но это так, отступление, память полнится летом 1934-го — Кирова убьют в первый день зимы.

В тот год Григорий Александров прославился фильмом «Веселые ребята». Фильм понравился на самом верху: он как бы подготавливал исторический афоризм, который Сталин произнесет позже, в самый разгар террора: «Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселей». Что бы ни происходило вокруг, рядом, надо, чтобы ребята были веселыми. Ленту пустили по стране широким экраном.

Тогдашний широкий экран — небольшая простыня, распятая между столбами в городском сквере; мальчишки и прочие ненадежные люди, не пожелавшие купить билет, пройти через калитку и занять места на расставленных перед экраном скамейках, лепились по другую его сторону, на заборе, на деревьях, на пригорке каком-нибудь, и смотрели картину на просвет, как бы в зеркальном отражении. Под простыней громоздились ящики звукоаппаратуры. Проектор на высоком штативе стоял за спинами зрителей. Каждые десять-двенадцать минут механик, громыхая круглыми плоскими жестяными банками, менял части: укладывал в банку катушку с пленкой, которую только что показал, и крутил новую; иногда он ошибался в темноте, ставил не ту часть, которую следовало, публика поднимала свист, кричала: «механика на мыло!» или что похуже, он перематывал обратно что уже успело проскочить, люди на экране бежали спиной вперед, насаживал нужную катушку, кино продолжалось. Именно так, в пыльном сквере подмосковного поселка Пушкино, за зеленой оградой летнего кинотеатра, я впервые увидел этот и поныне знаменитый фильм.

Мы с Капкой поспешили, понятно, в первый ряд; мои родители, дядя Вася в темно-синем кителе, при свистке на цепочке, а также его сноха Клава, Капкина мать, толстая моло-

дая женщина с мягким белым лицом, устроились где-то в середине. Клава держала на руках полуторагодовалого Капкиного младшего брата, который время от времени, к неудовольствию зрителей, недолго, но визгливо орал.

Люди с веселым восторгом, с искренним радостным смехом смотрели, как быки, коровы, бараны, козлы и свиньи, ворвавшись в красиво убранное человеческое жилье, крушат старинную мебель, ломают скульптуры, бьют и топчут фарфор и хрусталь, как озверевшие люди, затеяв драку, калечат музыкальные инструменты с их нерукотворной красотой, как случайно попавший на сцену пастух в одежде с чужого плеча, сам того не зная, дирижирует симфоническим оркестром, а на сцене Большого театра, взамен оперы, тот же пастух, хлебнувшая из фляги домработница и кучер похоронных дрог отхватывают «тюх-тюх-тюх-тюх, разгорелся наш утюг»... Фильм с триумфом шагал по стране, оставляя за собой две хороших бодрых песни Дунаевского в ритме входивших тогда в моду фокстрота и танго. «Легко на сердце от песни веселой», — разносилось в парках, на стадионах, из рупоров заводских цехов, выползло из-под дверей в заставленные шкафами, завешанные по стенам велосипедами и тазами коридоры коммунальных квартир. «Сердце, тебе не хочется покоя, сердце, как хорошо на свете жить»...

Граммфоны отжили свой век. Если у кого и сохранился красивый, «под красное дерево», ящичек с прилаженной к нему огромной латунной трубой, то, всего чаще, он стоял погруженный в немоту где-нибудь в уголке — предмет украшения, привычная подробность обстановки или так, ненужная вещь, которую жалко выбросить. Началась эпоха патефонов. Советская индустрия освоила их производство. Люди изогнутой рукояткой рьяно заводили пружину, и глуховатый голос Утесова звал подтягивать ему из окон городских домов и с дачных веранд.

В то лето тетя Эстер привезла маме из-за границы две пластинки Вертинского.

Эстер, мамина сестра, была годом младше мамы. Во время гражданской войны, когда в Сибири начались массовые эпидемии, американский Красный Крест оборудовал там лазареты. Мама работала в таком лазарете, сама переболела сыпняком и холерой, чудом осталась жива. Ей удалось пристроить Эстер сиделкой. Персоналу полагалась на дежурстве кружка кофе, галеты, бэкон и пластовый мармелад. Когда начались какие-то недоразумения с большевистской властью и Красный Крест начал сворачивать работу, американцы испросили разрешение вывезти с собой всех того пожелавших российских сотрудников. Мама (соответственно, и папа — они уже встретились там, в Сибири, уже и дочь была, вскоре умершая) ехать не захотела, а Эстер уехала. За границей она вскоре вышла замуж за коммерсанта-датчанина — у него по всему свету были магазины, где продавалось сливочное масло, маргарин и прочие молочные продукты. Эстер много путешествовала — посылала нам красивые почтовые открытки с видами Парижа, Лондона, Нью-Йорка, Рима, Венеции и Монте-Карло. Больше всего писем было из Хельсинки, Стокгольма и Копенгагена — там Эстер в основном и жила. У меня собралось два больших альбома с такими открытками, я любил рассматривать их, сортировать по странам, городам, на некоторых карточках одна и та же площадь, здание были отсняты в разное время года или днем и ночью. Мы даже в 1937 году не уничтожили всю эту красоту, дрогнули только в 1953-м, во время «дела врачей». Было физически трудно (не говорю уже, что жалко) рвать плотную бумагу на мелкие клочки, потом разбрасывать по окрестным помойкам (составив обрывки, могут прочитать на обороте адрес, имя получателя); главное же, было невероятно глупо. Как говаривал мой покойный друг Лев Разгон, знавший толк в таких делах: «Если за тобой придут и у тебя на полке будут стоять только сочинения Ленина и Сталина, — все равно заберут». Впрочем, кому потом понадобились бы эти альбомы? Теперь внуки посылают мне открытки из Венеции.

Летом 1934-го Эстер единственный и последний раз приехала повидаться с мамой. Это было уже небезопасно (для нас), но еще возможно. Мама с папой встречали Эстер в Моск-

ве и прямо с вокзала привезли на дачу. Я ждал их на дачной платформе вместе с сыном дяди Васи — с ним было договорено, что он придет с тачкой, чтобы довести до дома багаж. Сын дяди Васи, Капкин отец, числился непутевым: какой-то московский полотер брал его иногда с собой помощником, а так он подрабатывал, где придется. У него было унылое, недовольное лицо и руки, всегда желтые от мастики, которой мажут полы. Клава любила его и никогда не ругала. Вечером, отправляясь спать, она с размаху хлопала его мощной белой рукой по ссутуленной узкой спине, кричала: «Брысь на койку!» и громко хохотала. Если дядя Вася был дома, не в поездке, он говорил ей: «Уймись, бесстыжая!», уходил на заднее крыльцо и долго курил, сидя на ступеньке. Главный кондуктор уже несколько лет вдовел.

Паровичок, дымя, шипя, давая свистки, медленно подошел к платформе. На Эстер была странная серая шляпа с маленькими полями, похожая на смятый печной горшок, за короткой вуалеткой светились такие же яркие: как у мамы, зеленые глаза. Я протянул ей руку: «Здравствуй, тетя». Эстер не приняла мою руку и сказала, улыбаясь: «У нас мальчики здороваются ножкой». Я, не задумываясь, поднял ногу и предложил ей взамен руки: «Здравствуй, тетя». Она, смеясь, расцеловала меня в обе щеки: «Шаркнуть надо, шаркнуть ножкой, дурачок! Я тебя потом научу»...

Тетя Эстер знала, что осенью я пойду в школу, она привезла мне в подарок несколько толстых тетрадей, альбом для рисования, карандаши и краски. Все это было так волшебно красиво: кожаные переплеты тетрадей, зеленоватые линейки и клеточки по белейшей глянцевой бумаге, золотой обрез альбома, закрывавшегося на замочек, фарфоровые ванночки с красками самых разнообразных цветов, что я долго не рисковал прикоснуться к ним. (Я и поныне робею перед роскошными писчебумажными принадлежностями, стараюсь выбирать попроще.) Да и некуда оказалось употребить подарок: в школе мы пользовались стандартными тетрадками, одинаковыми красками, по восемь цветов в картонной коробке, одинаковыми блоками для рисования. Альбом и краски года два спустя

меня уговорили передарить кому-то, а тетради, в ожидании особой необходимости, долго хранились в ящике стола и пропали уже во время войны.

Эстер гостила у нас с неделю, потом отправилась в Новосибирск к родителям, а оттуда в свою границу уже не через Москву, а через Харбин, куда ей тоже зачем-то понадобилось. В 1937-м мама намеком просила ее не писать нам больше. После войны мы долго не знали, осталась ли она жива. Пока однажды не позвонил кто-то с иностранным акцентом, чтобы передать маме привет «от Вашей сестры Эстер». «Ваша сестра спрашивает, может ли она писать Вам по старому адресу». «Скажите, мы сами напишем, когда сумеем» — мама быстро положила трубку. Была зима 1953-го — «дело врачей». В годы перестройки у нас случайно оказалась знакомая в финском посольстве. Она живо отозвалась на мамин рассказ о пропавшей сестре, делала какие-то запросы, но Эстер так и не нашлась.

Мама очень любила Вертинского. Незадолго до Первой мировой, то ли в самом ее начале, оказавшись в Москве, она каждый вечер бегала слушать его в летний театр сада «Эрмитаж». По вечерам в саду давали концерт в двух отделениях; Вертинский открывал второе. Мама брала билет на все представление, но вместе с другими поклонницами певца входила в зал лишь в антракте: они слушали, как печальный Пьеро поет свои песенки, осыпали его цветами и овацями и тотчас исчезали до завтра. Вертинский в молодости был очень красив. В 1916 году на кинофабрике Ханженкова снимали фильм по рассказу Толстого «Чем люди живы» — его пригласили играть ангела. Дореволюционные ноты с портретами красивого, молодого Вертинского лежали у нас на пианино.

Вертинский эмигрировал, жил за границей, — не берусь сказать, был ли он в СССР запрещен, но имя его нигде не упоминалось. Артиста как бы предали забвению. Но когда в конце Второй мировой войны он возвратился в Россию, показалось, что все эти четверть века, покуда он отсутствовал, в отечестве помнили его и ждали. Он въехал в страну где-то на Дальнем

Востоке или через Манчжурию, уже по дороге в столицу его просили петь. Отданные под его концерты большие зрительные залы Москвы — оперного театра имени Станиславского и Немировича-Данченко или театра Сатиры — наполнились до отказа; на балконе люди стояли в проходах.

Мы с мамой попали на второе или третье его выступление. Вышел старый человек с правильным, но уже некрасивым крупным лицом, гладко зачесанными назад редкими волосами, с небольшими круглыми глазами, немного даже «оловянными». Не в одежде Пьеро — в строгом концертном фраке. При всей его статности, высоком росте, аристократическом умении держаться в нем чувствовалась разрушенность. Он запел сильным (никаких микрофонов!), но надломленным, порой дребезжащим голосом, иногда хрипел, слегка откашливался прямо во время пения, — первую минуту (но не более минуты) в зале возникло тревожное изумление неожиданности, недоумения. Но тут он сделал непередаваемый жест рукой, — жест не воспроизводил в движении произносимое слово, он соответствовал ему внутренне, передавал глубинный смысл, помогал почувствовать особую выразительность самого произнесения слова. Изумление неожиданности почти мгновенно сменилось изумлением откровения: слова со сцены проникали, что называется: «из сердца в сердце», каждое слово обретало полноту и зримость образа, двухминутная песенка оборачивалось завершенным сценическим действием, трагедией или комедией, в зависимости от замысла, а подчас и настроения артиста (позже, бесчисленно и в разных залах его слушая, я подчас оказывался свидетелем того, как одна и та же вещь накануне преисполненная печали на другой вечер искрилась скептической насмешливостью).

Вертинский ездил с гастрольями по всей стране. Далекий, неведомый, реально почти не существующий для нас мир, воссоздаваемый в его песнях, вдруг оказался странно близок чувствам и мечтам советских граждан, заполнявших залы. Он пел в отечестве, которое возвратил себе, тринадцать лет и умер после концерта, в гостиничной одиночке, не дотянувшись до тюбика с нитроглицерином. Он пел по 100-150 кон-

цетров в год. Ему ни разу не напечатали типографской афиши. Рецензенты не отзывались на его концерты. Его несколько раз снимали в кино (данные для некоторых ролей в самом деле отменные, такого «аристократа» у нас в кино больше не было), он сыграл одного вельможу и двух кардиналов, получил Сталинскую премию. И все равно: вслух о нем молчали, будто он по-прежнему пел в Париже и Шанхае, в бананово-лимонном Сингапуре, в притонах Сан-Франциско, а не в Челябинске и Мелитополе. Неповторимое, одноразовое мастерство великого артиста пропало бесследно. На рубеже 1990-х годов отмечали его столетие, — оказалось, никто не записал на кинолентку ни одной исполняемой им песни.

Когда, лет около сорока назад, я с моими детьми, тогда еще школьниками, смотрел по телевизору документальные ленты тридцатых годов, я мучительно думал, как одновременно с внешним обликом эпохи, с бегущими на экране картинками перелить в них ощущения тех лет. Как перелить в них чувство, настрой, физическое состояние первомайской демонстрации с ее «Ты, моряк, хорош сам собою», плясками под гармошку, с громадной карикатурной куклой какого-нибудь Чемберлена на платформе грузовика. Или торжество открытия московского метро — первые десять станций, от «Сокольников» до «Парка культуры» — после нескольких лет надрывного подземного труда «комсомольцев-добровольцев» и взволнованного ожидания прочего народонаселения, разогретого потоками статей, стихов, песен (вместе с папой — ему как ударнику выдали специальный билет — за несколько дней до начала регулярного движения спускаемся по неподвижному пока эскалатору, станции кажутся мне, и впрямь, сказочными дворцами, в несомненном соответствии с тем, что пишут о них газеты). Как перелить, думал я, сидя у телевизора, в моих детей, в них сегодняшних, ощущение всеобщей счастливой праздничности футбольного матча, когда «едет прямо, едет прямо на «Динамо» вся Москва, забыв о дожде».

Это меня томило. Я всю жизнь пишу о России 19-го столетия (хотел по привычке написать «прошлого», но уже — поза-

прошлого), просматриваю сотни книг, выискиваю характерные подробности духовной и внешней жизни людей того времени, о котором пишу, — меня заботит степень достоверности воспроизводимого мною мира. Понимаю, что речь может идти лишь о степени. Даже «Война и мир» как создание во многом исторически недостоверное подверглась суровой критике серьезных свидетелей и участников описываемых в эпопее событий, и только мощный гений Толстого мог убедить современников и потомков в том, что всё происходило именно так — мы поверили Толстому больше, чем возражениям очевидцев.

Прошлое доживает с теми, кто его помнит. Дальше начнутся более или менее даровитые описания, реконструкции, мифы. Современному горожанину трудно представить себе даже свет, цвет, запахи, ощущения минувших времен. Ему трудно себе представить, как живут в комнате, освещенной свечой. Лев Толстой долгими вечерами работал у себя в яснополянском кабинете при одной свече. Вообще-то у него на письменном столе стояло две, но он был скуповат на свечи и зажигал обычно одну. В глубокой старости, за несколько месяцев до смерти, на вопрос, не болят ли у него по вечерам глаза, он ответил, что принимает меры предосторожности: избегает пользоваться яркой лампой и читает при свече. Анна Андреевна Ахматова тоже как-то рассказывала, что в молодости читала и писала ночи напролет, зажигая только одну свечу, — темно ей не было.

В начале 50-х я впервые попал в Святые Горы. Тогда они назывались Пушкинскими, или, в нашем советском официальном просторечии, — Пушгоры. Бывшая монастырская гостиница (новую еще не построили) именовалась «Дом экскурсанта», в местной этимологии — «дом курсанта».

Мы с женой приехали зимой, долго добирались из Пскова на ходившем раз в сутки маленьком автобусе. Водителем была пожилая, полная женщина, поверх ватного бушлата обвязанная крест-накрест серым шерстяным платком. Народу набилось не протиснуться, почти всю дорогу — она длилась часа

четыре — я стоял. В доме экскурсанта целую неделю, что мы там провели, кроме нас, постояльцев не было. Нам дали маленькую комнату на втором этаже. С утра и дотемна мы бродили по Михайловскому парку, мимо знаменитых трех сосен переходили в Тригорское, или по скованному льдом озеру в дальнее Петровское. Когда мы возвращались домой, печь в комнате была протоплена, на столе стояла свеча — движок в поселке давал ток только до девяти часов вечера.

В гостинице пахло дымком и вместе особенным запахом нетопленных печей, воском, старым деревом полов, зимним воздухом, который залетал в здание и разбегался по коридорам, когда открывали входную дверь. Скрипучая лестница посредине коридора, которая вела с первого этажа на второй, освещалась подвесным прямоугольным фонарем. В его тускло-желтом свете мистически смотрелся белый бюст поэта, копия с известной скульптуры Гальберга, стоявший на площадке второго этажа. Вряд ли я сумею передать неповторимое тревожное и сладкое чувство общения с прошлым, которое переполняло душу, волновало мысли, заставляло сердце колотиться сильнее. Однажды ночью на дворе разыгралась непогода, вьюга стучала в окошко, пламя свечи дрожало и грозило погаснуть вовсе. С детства завязшее в памяти «Буря мглою небо кроет» перестало быть «стихотворением А.С.Пушкина», сделалось живым миром поэта, в котором нам посчастливилось оказаться вместе с ним.

С тех пор мы ездили в Святые Горы ежегодно, иногда несколько раз в году, чаще зимой. Недавно мне попала книга о современных сектах. Там между прочими упомянута «секта пушкинистов» и в качестве одной из примет принадлежности к ней названо именно это стремление навещать Святые Горы в пустынные от набега туристов и оттого дарующие большую близость общения с «гением места» зимние месяцы. В одно из посещений мы обнаружили, что «дом экскурсантов» благоустроен: печное отопление заменено центральным, электрические лампочки горят круглые сутки и вместо гальберговского бюста поэта — почему-то репродукция с картины художника Бродского «Ленин в Смольном». А потом по соседству и вовсе

выросла новая удобная гостиница: номера с душем, ресторан, телевизор, буфет с баром. Неповторимого счастья поубавилось, зато удобств приумножилось. Но это уже о другом.

Как-то я оказался свидетелем беседы незабвенного моего друга Натана Эйдельмана с внучкой историка Петра Ивановича Бартенева, издателя «Русского архива». Неожиданно между ними возник спор: Натан доказывал, оперируя датами, коих он помнил несчетно, что в некотором году, выскочившем в ходе разговора, наша собеседница не могла встречаться с каким-то историческим персонажем. «Очень даже встречалась! — в пылу спора воскликнула старуха. — Он сам приехал к нам в имение; у него тогда была плохая нога». Натан поднял руки и радостно расхохотался, как только он умел, отдаваясь радости проникновения в прошлое: «Сдаюсь! Перед вашей “плохой ногой” моя хронология бессильна!»

Поздней осенью 1910 года профессор Владимир Петрович Воробьев — в Харькове на медицинском он читал у мамы курс анатомии — взошел на кафедру, его узкое лицо было бледнее обычного, несколько минут постоял молча, глядя поверх голов студентов и курсисток, сказал задумчиво, будто сам себе: «Теперь начнется». В наступившей тишине кто-то не удержался, спросил: «Что начнется?» На лице профессора выказались вместе досада и боль, как бывало на экзамене, когда кто-нибудь путался в любимых им наименованиях костей, сосудов, связок, он поискал глазами спросившего, не нашел и снова проговорил в никуда: «Все пойдет по-другому». Поправил жесткий крахмальным воротник сорочки, словно высвобождая дыхание, сказал: «Лев Толстой умер».

Все пойдет по-другому. Четырнадцать лет спустя профессору Воробьеву поручат бальзамировать труп Ленина.

Мама вспоминала также, как в 1913-м пришла со своей студенческой чахоткой на прием к известному врачу-еврею (студентов пользовал бесплатно). Пока ждала очереди, услы-

шала: за дверью в кабинете резко затрещал телефонный аппарат. Через минуту дверь распахнулась, доктор, невысокий, плотный, с темной бородкой и в пенсне (студенты называли его «Эмиль Золя»), появился на пороге, объявил, чуть задыхаясь от волнения: «Простите, господа. Сегодня приема больше не будет. Только что оправдали Бейлиса».

Я изучал книги о начале 20-го столетия (теперь уже — «прошлого») и книги писателей той эпохи, интересовался «серебряным веком» русской поэзии, тогдашними театром и живописью. В моей голове роилось стократ больше сведений о том времени, нежели у моей мамы, но она читала при свече, удивлялась первым автомобилям («моторам»), стояла ночи за билетом в Большой, чтобы услышать Шаляпина — Дон Базилио и Мефистофеля, в Художественном виде-ла Качалова в Гамсуне, встретила где-то Блока, ходила на поэзо-концерты Северянина, бегала каждый вечер в «Эрмитаж», чтобы услышать несколько песенок Вертинского, — перед этой «плохой ногой» мои сведения бледнеют, как лампада пред светом зари...

Все это сопрягается с моим рассказом, поскольку живое прошлое постоянно и неизбежно заменяется сведениями о прошлом, а само уходит из мира с теми, в ком оно живет, как безостановочно истаивает льдина, дрейфующая от полюса на юг.

Эстер привезла маме две пластинки Вертинского — черные диски с черными лакированными этикетками и золотым шрифтом заголовочного текста. На пластинках было, соответственно, записано четыре песни — через несколько дней я все их помнил наизусть. Вечером, когда в воздухе сгущалась темнота, на клумбах, белея в сумерках, все сильнее благоухал табак, а с окрестных дач доносилось хрипловатое утесовское «У самовара я и моя Маша», мама, кутаясь в шаль, устраивалась на небольшом матрасе в углу веранды и просила меня спеть ей Вертинского. Проще было поставить пластинку, но ей нравилось, как я пою. Я присаживался к ней на край матраса и

пел: «Я не верю, что в эту страну забредет Рождество...» Позже, заделавшись страстным поклонником Вертинского, я мог воспроизвести значительную часть его репертуара. Как нередко случается с людьми, не одаренными ни голосом, ни слухом, оставшись наедине, я люблю петь, и, если пою, то почти непременно Вертинского.

Даже и теперь, уже почти не в силах воспроизвести вслух живущую в памяти мелодию, я, вышагивая привычный круг моей прогулки, молча напеваю сам себе эти песенки, — каждая тянет за ниточку, разматывает клубок воспоминаний, так или иначе, подчас по непостижимо-сложным ассоциациям, с ней связанным, и все они в конечном счете приводят меня в то лето, на дачную веранду, на короткий полосатый матрас, застеленный черным в красную искорку пледом: мама кутается в шаль, у нее еще молодые зеленые глаза, она курит папиросу, я сижу подле, толстоватый мальчик в белой рубашке, перешитой из маминой кофты (мама любила, чтобы носил белые, хоть и приходилось без конца стирать), в коротких трусах, ощущаю под коленями грубоватую шерсть пледа, и, стараясь не дать себя сбить голосам соседских патефонов, тяну негромко: «Я не верю, что в эту страну...»

У Капки были светлые выцветшие на солнце волосы и такие же серые, будто выцветшие глаза. Ее загорелая кожа на руках и ногах была покрыта нежным белым пушком. Капка шептала мне: «Побегли огурцы красть». Огурцов в то лето уродилось много, они перезревали, никто не запрещал рвать их, но нам нужны были тайна и риск. Укрываясь от глаз взрослых, мы пробирались в дальний угол огорода и садились на корточки между грядками. Капка, аппетитно хрупя, жевала огурец, я не ем огурцы с младенческих лет, даже запах их не переносу, меня от них тошнит, но, чтобы не испортить тайну, срывал небольшой темно-зеленый плод с острыми пупырышками. Главное было — я не сознавал этого, но чувствовал как-им-то глубинным пониманием, — вот так на корточках сидеть друг против друга, соприкасаясь коленями. Капка сидела, широко расставив колени, я, понимая, что делать этого не сле-

дует, против воли искал увидеть под задравшимся Капкиным подолом ее крепенькие бедра, плотно обтянутые голубыми трикотажными штанишками.

Мы сидели тихо, невидимые, нам казалось, за невысокими кустами крыжовника. Неподалеку истошно орал маленький Капкин братишка. Дядя Вася, появившись на крыльце с заправленной в деревянный мундштук самокруткой, сердито кричал: «Клавдия, не видишь, парень ушибся!» — «Крепче будет», — не повернув головы, Клава, лениво возила руками в корыте. Солнце пекло наши макушки, плечи, колени. Я, почти теряя сознание от того, что делаю, вдруг положил Капке руку на бедро. Она быстро, с интересом взглянула на меня и тотчас опустила глаза. Несколько минут прошли для меня в незнаемой прежде сладкой истоме. Потом Капка повела ногой и сказала: «Щекотно».

В то лето к нам в гости приехал на дачу Киров. Не тот Киров, которого несколько месяцев спустя убьют в коридоре ленинградского обкома и который, собственно, не был Киров — это партийный псевдоним, или, как тогда чаще говорили, «кличка», настоящая его фамилия Костриков, а Киров всамделишный, папин сослуживец. Точнее — даже начальник. Этот Киров был тоже довольно известный коммунист, но болгарский. В Болгарии его преследовала полиция, он сидел в тюрьме, потом ему удалось бежать в Советский Союз. По специальности он был врачом, его направили в научно-исследовательский институт руководить отделом, в котором работал папа. Теперь они писали вместе какую-то статью, и папа пригласил Кирова провести выходной день на даче, подышать свежим воздухом, а заодно и посидеть над статьей. Мама сварила большую кастрюлю темно-красного свекольника — ее поставили в вырытый во дворе ледник, яму со срубом, где еще с зимы лежали уже осевшие, почерневшие по краю глыбы льда; на стоявшей под навесом кирпичной летней плите мама жарила пирожки с мясом. Папа в белой рубашке с красиво завязанным галстуком-бабочкой, белых из рогожки брюках и белых же парусиновых туфлях, начищенных зубным порошком, от-

правился на платформу встречать гостя. Мы с Капкой, обогнав его, побежали на наш холм — первыми увидеть приближающийся поезд. На холме кто-то накануне жег костер — среди невысокой травы ровно круглело серое кострище. Поезд долго не показывался, и мы с Капкой начали толкать друг друга, стараясь заставить один другого ступить ногой на кучу пепла, пересыпанную мелкими черными угольками. Я толкнул сильнее. Капка, изловчившись, как-то спиной перескочила через кострище и замерла по ту его сторону, широко расставив ноги. «Ой!» — вдруг охнула она и с интересом взглянула на меня дурными веселыми глазами: «Ой! Я коровку дою...» Она подняла подол платья, под которым не оказалось штанишек, и так же, стоя с широко расставленными ногами, начала при мне бесстыдно писать. «Я коровку дою! Я коровку дою!» — кричала она в каком-то овладевшем ею безумии. Я смотрел на нее, будто обратившись в камень, не в силах не то что отвернуться, но даже моргнуть. Я, не отрываясь, смотрел на пленительную припухлость между ее ногами, на шелку, из которой с силой лилась тонкая прозрачная струйка, — мое неподвижное тело перестало ощущаться мною как плоть, будто превратилось в одно сосредоточенное томительное напряжение.

Не помню, как подполз к платформе паровик, как шли домой, обедали, беседовали, заводили патефон. Кроме Капкиного «Я коровку дою!» ничего из того дня не помню. И это жданного Кирова не помню. Почему-то представляется невысокого роста широкоплечий плотный мужчина, с хорошим простым лицом, в вышитой рубашке, схваченной тонким кожаным пояском, сером чесучевом пиджаке и такой же чесучевой фуражке военного образца. Но признаться, мне кажется, что облик папиного Кирова как-то сам собой подменился обликом впоследствии многократно виденного на фотографиях и кинолентах другого Кирова, которого убьют в первый день зимы того 1934 года.

...Все это обрушила на меня метущаяся во мне, подобно запертому в темнице узнику, память, хотя история, которую я намереваюсь рассказать, произойдет в иное время и в ином

месте. Но разве нам дано постигнуть тайную связь времен и вещей?.. «Ныне хочу рассказать про тела, превращенные в формы новые, — начинает Овидий свои “Метаморфозы”. — Боги, — ведь вы превращения эти вершили, — дайте ж замыслу ход...»

2

В паспорте и других маминых документах значилось: родилась в 1892 году в городе Новосибирске. Здесь все неверно, но мама писала так вряд ли по какому-либо умыслу: вначале, возможно, ради простоты, а после — уже не переиначишь.

Вообще же в 1892 году Новосибирска не существовало. Лишь годом позже на месте, где ныне стоит город, возник населенный пункт, названный Новая деревня, вскоре он был переименован в поселок Александровский, затем в Новониколаевский. На исходе 1903-го, когда маме исполнилось уже одиннадцать лет, поселок преобразовали в город Новониколаевск. Два десятилетия спустя, в 1925-м, спохватились, что в названии содержится упоминание о последнем российском государе-императоре, и город стал Новосибирском.

А родилась мама в большом селе Колывани, лежащем в пятидесяти верстах к северу от Новосибирска. Возможно, сейчас Колывань получила уже статус полноценного города, но, когда мне посчастливилось побывать там, в конце семидесятых годов, она числилась поселком городского типа, хоть и райцентром.

Тогда, в семидесятых, я делал на Новосибирской телестудии десятисерийный фильм о русском искусстве. Работа интересная, но платили гроши, — директор студии даже стыдился и хотел возместить мне отсутствие денег каким-либо приятным одолжением. Я попросил свозить меня на день в Колывань, и в ближайшее воскресенье он предоставил мне машину с шофёром.

В Колывани ждал меня редактор местной газеты — интеллигентный молодой человек: открытое лицо с ярким румянцем, большие очки в тяжелой оправе. Он — спасибо ему —

решил попотчевать меня, замшелого горожанина, экзотикой: посадил в ходкие, запряженные парой, пошевни, — поверх толстого слоя соломы был брошен полосатый палас, — и с ветерком, с настоящим ветерком, напоенным запахом снега, мороза, солнца, простора, лихо прокатил по улицам поселка городского типа. Тонкая снежная пыль поднималась из-под копыт лошадей, радужным туманом обдавала лицо. Над крышами домов тянулись в яркое голубое небо золотисто-розовые и жемчужно-серые дымы. На память редактор подарил мне несколько фотографий: Колывань дореволюционная и новая Колывань с двух- или даже трехэтажным зданием сельскохозяйственного техникума и промышленными объектами — маслодельным заводом и фабрикой плетеных изделий. После прогулки молодой человек сдал меня на руки двум очень похожим одна на другую старушкам-учительницам.

Обе маленькие, худенькие, легкие на ногу, с темными, несмотря на возраст, волосами и темными живыми глазами, старушки в самом деле оказались сестрами. Некогда, в 1941-м, их вывезли из осажденного Ленинграда, перипетии тогдашних дорог привели сестер в Колывань. После войны обнаружилось, что в Ленинграде у них не осталось ни дома, ни родных, между тем в селе учительниц полюбили, и сами они за несколько лет заинтересованно и уместно встроились в поселковую жизнь; когда большинство эвакуированных двинулось к местам прежнего своего обитания, сестры решили остаться здесь навсегда. Семьями они не обзавелись, жили вдвоем в небольшом, скорее похожим на дачный, чем на сельский, каком-то легоньком на вид доме рядом с церковью. Купол срезали еще в тридцатые годы, в самой церкви, вместо долго обитавшего там склада, размещался теперь созданный усилиями сестер-учительниц местный музей. Они старательно показывали мне висящие по стенам таблицы и рисунки, вещественные экспонаты, покоящиеся в застекленных витринах, — скажу по совести, ничего из увиденного тогда я не запомнил, кроме гордо покоившегося на особом возвышении зуба мамонта. Каким образом этот буроватый зуб попал в Колывань и куда делась остальная часть ископаемой громады, право, не ведаю.

Потом старушки поили меня чаем с брусничным вареньем. На окнах, задернутых аккуратными тюлевыми занавесками, краснела герань. По двум стенам комнаты от пола и до потолка взбирались простые дощатые полки, уставленные книгами. Я объяснил милым хозяйкам, что главная цель моего приезда в Колывань — рассказать маме, которая вот-вот перешагнет в десятый десяток, о месте, где прошло ее детство и о котором, как водится у старых людей, она вспоминает теперь часто и подробно. Я назвал фамилию деда. Старушки понимающе переглянулись, одна из них, державшаяся как старшая, слегка кивнула головой младшей, та потянула с полки большую папку для нот и, освободив место на столе от чашек и вазочек, разложила мастерски вычерченную черной тушью копию со старинного плана села Колывани, — каждое здание на листе было обозначено домиком разной величины с поставленным на нем номером.

— Вот, — старшая из сестер показала черенком чайной ложечки на плане. — Номер пятьдесят семь — дом вашего дедушки. Он, к сожалению, не сохранился.

Она приблизила ко мне свое лицо с расширившимися, тревожно потемневшими глазами и, хотя в комнате, кроме нас троих, никого не было, вполголоса спросила:

— Возможно, вы не знаете, что ваш дедушка был купец первой гильдии?

Я, не отпираясь, признался, что знаю.

— А вот здесь, — черенок ложечки потянулся направо вниз, — номер семьдесят: это лавка вашего дедушки. Здание, к сожалению, тоже не сохранилось.

По моим сведениям, дед торговал зерном. Я спросил:

— Разве у деда была лавка?

— Как же, как же! — старушка снова приблизила ко мне лицо с встревоженными глазами. — Скажу вам по секрету, в 1905 году здешние мужики разгромили лавку вашего дедушки, растащили многие товары, ситцы, кумачи...

— Кумачи — на красные флаги, наверно?

— Нет. Революция не получила в Колывани должного развития, выразилась в нескольких актах грабежей, насилия, поджогов.

— А дом Толоконских тоже не сохранился?

— Толоконские держали постоялый двор. Вот здесь — номер сорок четыре. Его снесли в период всеобщей коллективизации. А вы, что же, и Толоконских знаете?..

Самсон Толоконский, некогда державший постоялый двор в селе Колывани, был мой прадед, отец моей бабушки. Поселился он здесь, по моим прикидкам, примерно в 1856 году, после Крымской войны. До этого двадцать пять лет служил в солдатах. Родом он был откуда-то из западных губерний, с Украины или из Белоруссии, — откуда, он и сам не знал. Когда ему исполнилось восемь или девять, в местечке появился воинский отряд, нескольких еврейских мальчиков, крепче сложением, отобрали у родителей и взяли в кантонисты. Прадед рассказывал, будто помнит, как за телегой, на которую посадили детей, с криком и плачем бежала его мать, солдат оттолкнул ее, она упала, с тех пор прадед никого из своих родных не видел и ни о ком не слышал. Такое начало жизни, как и четверть века солдатчины в страшное николаевское время, не помешали моему прадеду быть верным слугой царю. Мама, которая еще застала его в живых, вспоминала, что в горнице у него и в комнате для проезжающих висели портреты государя и государыни, за стеклом шкафа, на самом почетном месте, красовалась большая позолоченная кружка, опять же с царскими портретами, дарованная ему при выходе в отставку, каждый год в определенный день (тезоименитства, наверное) старик посылал государю поздравительное письмо и неизменно получал из Петербурга, откуда-то из дворцового ведомства, благодарности, напечатанные на красивой бумаге; этим листам, взятым в рамки, также отданы были почетные места на стенах комнат. Небольшой надел земли в Сибири был пожалован прадеду по окончании военной службы. Не исключено, что в армии его, как и многих других еврейских мальчиков-кантонистов крестили: еще в 1837 году начатое несколько ранее поселение евреев в Сибири было приостановлено, впоследствии принимались меры, ограничивавшие возможности их пребывания в этой части Российской импе-

рии. На стариковской фотографии, однако, седобородый прадед изображен в черной шелковой ермолке, и мама вспоминала, что в доме соблюдались некоторые иудейские обряды: должно быть, еврейство вернулось к отставному солдату вместе с женьитьбой на девице из уже угнездившейся в Сибири еврейской семьи. Но говорили дома по-русски, того более — по-сибирски (даже мама бывало вдруг щегольнет каким-нибудь «два раз делат» вместо «два раза делает»), и детям, как водилось у сибирских евреев, подчас давали далекие от канонических еврейских имена. Вот и бабушку мою называли Аграфеной, что постоянно вызывает сложности, когда я заказываю по ней на еврейском кладбище заупокойную молитву.

Мой дед, о котором далее пойдет речь, был родом из Каинска. Этот город с мрачноватым именем издавна оказался почему-то местом сосредоточения оседавших в Сибири евреев. В начале девятнадцатого столетия их насчитывалось в городе около ста, к концу века уже две тысячи. Основную часть еврейского населения составляли остававшиеся в Сибири после отбытия срока ссыльные. Это тешит во мне романтическое предположение о предках-каторжанах, возможно, разбойниках, или, на худой конец, контрабандистах. Дед про своих родных, вообще про свое детство и юность никогда не рассказывал, в мамином семействе про его родню ничего не знали, даже бабушка не была знакома со свекром и свекровью. Семейное предание начинается биографию деда лишь с той поры, как он объявился в Кольвани, завел там какое-то дело и женился на Аграфене, дочери хозяина постоянного двора, моей будущей бабушке.

Пополняясь ссыльными, сибирские еврейские общины состояли по большей части из лиц мужского пола. Недавно я прочитал, что, по ходатайству каинских евреев, им было разрешено (закон от 2 апреля 1817 года, содержащийся в тайне) покупать или выменивать приводимых из-за пограничной линии, отделявшей Россию от степи, плененных калмычек и киргизок («киргизами» называли тогда казахов, «кайсаков») и жениться на них по еврейскому обряду. И теперь я с тайной

догадкой вспоминаю крутые скулы деда, смотрю на собственные детские и молодые фотографии, — в школе за круглое плосковатое лицо с косым разрезом глаз и прямые черные волосы меня дразнили «татаро-монгольским игом», в зрелые годы, пока возраст не удлинит мое лицо, не вытянул нос, не опустил устало уголки глаз (правда, скулы остались по-прежнему выпуклыми и круглыми), мне приходилось не раз выслушивать вопрос, не являюсь ли я представителем какой-либо из ныне уже бывших среднеазиатских республик.

Я начинаю помнить деда с начала тридцатых годов, с того времени, когда мне было примерно лет шесть. Я видел его нечасто, на моей памяти он никуда не выезжал из Новосибирска, а мне редко случалось наведываться туда, — казалось бы, я должен был всякий раз замечать происходившие в нем перемены, но в моей памяти он всегда один и тот же, впрочем, может быть, он и в самом деле не менялся.

Дед видится мне крепким коренастым стариком, всегда коротко («под машинку») постриженным, его круглая седая голова светилась начищенным серебром. У него были небольшие густые усы, тоже добела седые, облежавшие плотно сжатые губы. Дед мало говорил, улыбался редко и коротко, предъясняя крупные белые зубы, незнакомые с кабинетом дантиста. Впервые он отправился к зубному врачу после войны, не Первой — Второй мировой, когда было ему уже за восемьдесят. Врач сказал, что нужно положить пломбу. Старик, разузнав, что это такое, лечение решительно отверг. «С дырой да платанный — зачем мне такой, — сказал он про больной зуб. — Уберейте вовсе». Врач удалил зуб; от наркоза дед отказался.

Самое примечательное на его, в общем-то, простом лице были глаза: холодноватые, позволю себе красивый эпитет — льдистые, зеленые глаза деда пристально и неодобрительно смотрели на мир вокруг. Устройство мира деду не нравилось.

Он ходил неторопливо, никогда не ускоряя шага, и все его движения были неторопливы и точны. Он говорил: «Чем спешить, лучше раньше начать; дома поезда не дождешься», —

речь его была так же точна, как и его движения. За свою жизнь он лишь однажды разбил чашку и досадливо вспомнил об этом событии до конца дней.

Мне было лет шесть, когда меня отправили на лето к деду и бабушке в Сибирь. Старикам сняли комнату где-то в пригороде, на высоком берегу Оби. Бабушка подымалась затемно, растапливала печь, гремела противнем. Маленькая, полная, с короткими ручками, она месила тесто, что-то лепила, бросала на сковородку, помешивала ложкой в кастрюле, — дед любил еду, как он говорил, «основательную»: «крошки пусть куры едят». После завтрака, какая бы ни стояла жара, он надевал старый сюртук из добротного серого сукна, водружал на голову плоскую соломенную шляпу-канотье и отправлялся со мной гулять. В одной руке у него была палка, в другой складная парусиновая табуретка. На берегу, пока я, один или с набегавшими из окрестных домов мальчишками, собирал черепки, рыл ямки, исполненные в тот момент для меня какого-то важного смысла, или строил сооружения из щепок и веточек, дед расставлял табуретку, опускался на нее, опирался подбородком на руки, сложенные на округлой рукояти палки, и сидел неподвижно, не сводя глаз с бегущей внизу, под обрывом, широкой реки.

Иногда я, заскучав, устраивался на травке у его ног, просил: «Дед, расскажи что-нибудь». Он редко имел охоту рассказывать, — продолжая смотреть на просторную, плывущую мимо воду, небрежно трепал ладонью мои волосы: «Играй, играй. Вырастешь, сам всего навидеешься. Чужое слово неосновательное».

Дед звал меня по имени и отчеству. Бабушка выговаривала ему: «Он тебе что — компаньон или воинский начальник!» Дед сердито отстранял ее упреки: «Тело — тлен, — ухватив двумя пальцами за краешек полу своего сюртука, он протягивал ее бабушке как бы в доказательство бренности тела, — а имя остается».

Но, случалось, мне удавалось упросить деда, и он рассказывал что-нибудь про старину. Особенно любил я истории о

том, как дед в санях ездил за тысячу триста верст на ярмарку в город Ирбит. Зимний путь был гладок и скор, не требовал ни моста, ни парома, иной раз и вовсе пролегал от одного места до другого по льду реки. В дорогу бабушка заготавливала деду мороженые щи с гусятиной, — останавливаясь отдохнуть, он откалывал кусок щей и давал растопить их и разогреть. Этот «кусочек щей» приводил меня в восторг, я спрашивал деда: «А мороженный суп тоже бывает?», он отвечал:

«С холоду щи лучше греют».

Позже, когда я попал в Сибирь зимой, я еще застал молочниц, приезжавших в город из окрестных деревень, которые, взамен тяжелых московских бидонов, повешенных через плечо, разносили по домам надетые на веревку чуть желтоватые от жира круги мороженого молока.

Дед говорил неспешно, но неизменно продвигаясь вперед. Каждая его фраза предлагала новые сведения. Он рассказывал про ирбитский Гостиный двор и торговые ряды, про то, какие привозили товары и откуда. Ярмарка в Ирбите после нижегородской была самой крупной в России. «Торговали не дремали. Шестьдесят миллионов рублей обороту. Рубль не нынешний — золотой». Дед, скруглив крепкие пальцы, будто предъявлял мне полновесную золотую монету.

Золотые рубли, точнее царские «пятерки» и «десятки», как их именовали, мне уже приходилось видеть. В двадцатые годы, не знаю точно, когда, вышел указ сдать государству всю сохранившуюся у частных лиц золотую царскую валюту. Когда пристали с этим к деду, он отговаривался, что все, что имел, давно проели — в гражданскую и после. Власти деду не поверили, посадили в каталажку, тем временем трижды обыскивали комнату и кухню, но так ничего и не нашли. У деда из прежнего состояния в ту пору, и правда, уже ничего не осталось, но тугой, тяжелый мешочек с золотыми монетами про черный день он все же хранил и так надежно упрятал, что мастера обыска, несмотря на все их старания, не докопались. Несколько лет спустя (не мытьем, так катаньем), в Москве открыли «торгсины» (сокращенно — «торговля с иностранца»

ми»: только что заглянул в словарь, но слово там уже не обозначено — ушло из языка), в «торгсинах» золотые вещи обменивали на продукты, даже импортные — невиданные у нас плавленные сырки, треугольничками в блестящей фольге, ананасный компот. В Сибири такой магазин именовался попросту «золотоскупка», и товары были попроще. В «золотоскупке» принимали и царские «пятерки», но, поскольку официально на руках у населения их уже вроде бы не имелось, следовало, чтобы сдать монету, превратить ее в безликий кусочек металла. Время от времени дед бросал два-три маленьких, с его ноготь, золотых кружочка в старинную медную ступку и долго плющил длинным пестиком. Потом они с бабушкой стояли в очереди и приносили домой белую муку, гречку, крупный колотый сахар, копченую рыбу и для меня сверкающие всеми цветами, как драгоценные камни в сказке про Алладина, леденцы в жестяной коробочке.

Из Ирбита дед вывез и главные театральные впечатления своей жизни. В ярмарочную пору в бездействовавшем весь остальной год городском театре давали спектакли. Приезжали на гастроли знаменитые актеры, в их числе кумиры российской провинции братья Адельгеймы. Они стали единственной сценической любовью деда, которой он никогда не изменил. Несколько раз его сводили в неплохой новосибирский драмтеатр «Красный факел», он откликнулся на увиденное своим «неосновательно»: «Бродят, стрекочут, куда им до Адельгеймов! Те скажут слово — так и пригвоздят!»

Оскудение Колывани началось со строительством в этом краю трансибирской железнодорожной магистрали. Линию железной дороги предполагалось вначале вести через Колывань, но в итоге ее проложили в обход села, пятьюдесятью верстами южнее. Говорят, будто причина тому тугодумство колыванских торговых людей, не осознавших преимуществ технического прогресса и всячески препятствовавших исполнению первоначального проекта. Когда мне выпало по-

бывать в Колывани, о чем я написал выше, и редактор газеты, и старушки-учительницы сетовали на былую недалёковидность земляков: случись все, как первоначально было задумано, не Новосибирск — Колывань стала бы могучим центром Западной Сибири, а Новосибирска, возможно, и вовсе бы не существовало.

Если в изменении проекта и в самом деле виновны колыванские ревнители старины, то, можно с уверенностью утверждать, что дед тут не при чем. Едва началось строительство железнодорожного моста через Обь и рядом появились первые признаки селения, которому суждено будет стать Новосибирском, дед оказался уже там. Он тотчас понял, что вместе с железнодорожной линией Колывань обойдет стороной и надежное будущее. Он быстро возвел по-тогдашнему большой дом в самом центре Новой деревни и, не покидая совсем Колывани, всё более укоренялся на новом месте, разворачивая здесь свое дело.

Дед обживался надолго, в конце семидесятых, когда я в последний раз был в Новосибирске, дом еще стоял. Прежде видеть этот дом мне не случалось: когда я появился на свет, дед в нем уже не жил, и, если бы не нежданно объявившийся родственник-старичок, я не только не в силах был бы и представить себе, что он уцелел, но вовсе о нем бы и не вспомнил. В разговоре старичок ненароком, как о чем-то само собой разумеющемся, обронил словцо о сохранившемся дедовом доме и, обрадовавшись моему живому интересу, вызвался немедля проводить меня туда.

При плановой застройке города дедов дом оказался не на передней линии проложенного проспекта, это и спасло его от сноса. Он оброс вокруг высокими новыми домами, прятался за их спинами где-то на задах, во дворе. Его облик выдавал обстоятельную простоту вкуса моего деда. Срубленный в два яруса из толстых бревен, он был совершенно квадратный в плане, чуть ли не с одинаковым количеством окон на каждую сторону, лишь входная дверь с невысоким крыльцом выдавала фасад. В доме размещалось жилуправление. Я пытался мыс-

ленно воскресить прошлое, увидеть идущих мне навстречу деда и бабушку, маму, ее сестер и братьев, обнаружить накрытый стол с самоваром и заварочным чайником на конфорке, венские стулья, тяжелые бархатные скатерти, золотистые клубы света керосиновых ламп, большие настенные часы с боем в резном футляре из мореного дуба, я пытался представить себе привычную, размеренную жизнь, некогда струившуюся в этом доме, но воображение мое отказывалось действовать в этих тускло освещенных коридорах, между бесконечными рядами дверей, возле которых жались темные очереди людей с усталыми лицами, в окружении стен, покрытых одной и той же грязно-зеленоватой масляной краской и увешанных бесконечными объявлениями о часах приема, условиях прописки, сроках прививки собак, правилами для военнообязанных, иллюстрированными плакатами по противопожарной безопасности и о мерах в случае ядерной войны.

После революции дом у деда, разумеется, отобрали со всем прочим недвижимым имуществом — амбарами, мельницами, лавкой в Кольвани, для жилья ему с бабушкой оставили маленькую комнату при кухне и самую кухню, в остальном здании разместилось какое-то ведомство, которым командовал человек по прозвищу Рваная Норка.

В молодости Рваная Норка, — про него говорили, что конокрад и вообще мужик темный, отбыл срок на каторге («норка» — по-сибирски: ноздря), и уж вовсе не за «политику». Дед где-то повстречал его и взял на разную работу — ухаживать за лошадьми, таскать мешки с зерном и прочее. После переворота Рваная Норка вдруг быстро попал в доверие к властям, обернуться не успели, ему уже вручено было ответственное, то ли партийное, то ли советское учреждение, под которое он, по легко объяснимой логике, занял именно дедов дом. «Был ничем, стал всем», — коротко, словами гимна, констатировал событие дед. В недавно жилых комнатах расставили конфискованные издававшие виды письменные столы, повесили телефоны, люди в военных френчах и кожаных куртках ходили с бумагами в руках из помещения в помещение, громко говори-

ли, ругались, открывали ногой двери, стучали на пишущей машинке, курили, бросали окурки на пол, где ни попадя вколачивали в стены гвозди и расклеивали приказы и объявления. Вознесенный волной истории, Рваная Норка, похоже, чувствовал себя Калигулой и решил сделать конфискованную у деда лошадь, на которой теперь разъезжал, если не сенатором, то комиссаром. Он приучил понятливое животное входить в дом, подниматься по лестнице и передвигался верхом по коридорам вверенного ему заведения.

Однажды дед сказал ему:

— Ничего, Рваная Норка, из вашей революции не выйдет.

— Это, хозяин, почему же? — Рваная Норка, сидя в седле, горделиво смотрел на стоящего внизу старика.

— Да потому, что дом-то теперь твой, ты — хозяин, а для тебя он всё одно чужой...

Но пророчество деда заглядывало слишком далеко вперед. Пока вроде бы у них выходило. В доме хозяйничал Рваная Норка, а дед, как лишенец из-за принадлежности к бывшему эксплуататорскому классу, не без труда пристроился кладовщиком на склад скобяных товаров. Он быстро разобрался в номенклатуре переданных под его ответственность замков, задвижек, крючков, дверного и оконного прибора, в работе был неизменно аккуратен и строг, клиенты его не жаловали — с ним не сговориться, не выпросить что-нибудь сверх положенного, тем более не смухлевать. «У тебя зимой снегу не выпросишь», — говорили деду. Он отвечал: «У меня теперь своего снега нет — весь казенный».

По праздникам он принаряжался, выходил на главный проспект, названный Красным, стоял на углу, опираясь двумя руками на палку, смотрел на шагающие мимо с веселым шумом и бодрыми песнями, украшенные знаменами и кумачовыми транспарантами колонны.

«Впереди Фирка Толоконская с красным стягом, в коже, в сапогах, как солдат, — коротко докладывал он дома бабушке. — Сколько покойный отец денег в гимназию учителям переплатил, так и не кончила. Три да пять не знает, а верховодить — все мастера».

Сам дед, которому учиться в гимназии не привелось, считал быстро и хорошо, всегда в уме. Мои двоюродный брат, Юрка, сын младшей маминой сестры Ольги, к которой дед переехал на жительство после смерти бабушки, рассказывал, что старик, ненадолго призадумавшись, решает самые сложные задачки про дурацкие поезда, которые едут друг другу навстречу или догоняют один другой, про бассейн, куда вливается и откуда выливается вода, но объяснить решение не умеет.

— Ты мне давай по действиям, — приставал Юрка. — Первый вопрос, второй вопрос.

— Вздор, — сердито спорил дед. — Зачем вопросы, когда ответ готов.

Муж Ольги, Семен Александрович, был заядлый преферансист. Дед никогда прежде карт в руки не брал, говорил: «Жалко времени на карты и денег на вино», но тут, в поздней старости, с тоски, должно быть, которой не выказывал, вдруг уступил и пристрастился. Он никогда не проигрывал.

3

Постельных принадлежностей в поездах тогда не выдавали, — приходилось брать с собой из дома. Простыню, одеяло, подушку, иногда и тощий матрасик пассажиры укладывали в распашной, на пуговицах мешок из плотной ткани, именуемый саком, стягивали двойным ремнем с чемоданной ручкой (случались укладки побогаче — портпледы — суконные, обычно в клетку).

К ручке, собираясь в путь, привязывали чайник: кипяток добывали на больших станциях, поезда стояли долго.

За кипятком мы отправлялись с комбригом авиации — на ворота гимнастерки голубые петлички, красный ромбик, золоченый значок рода войск: пропеллер с двумя крылышками. По вагону комбриг прогуливался в распоясанной гимнастерке и высоких шерстяных носках поверх обтягивающих его крепкие икры штанин галифе, но, собираясь выйти на станции, надевал начищенные до блеска хромовые сапоги, затягивал свое ладное тело новой пахнувшей кожей портупеей апельсинового

цвета. Незадолго перед тем мы впервые по-настоящему познакомились с апельсинами — их во множестве начали доставлять в Москву из охваченной гражданской войной Испании.

В комбрига я влюбился, едва мы с мамой сели в вагон. Комбриг был невысокий, широкоплечий, с ясным лицом, голубыми глазами и светлым задорным хохолком на коротко подстриженной голове. Очень молодой, он уже получил какое-то важное назначение в Дальневосточный округ. Когда мама сказала что-то лестное о его возрасте и быстром продвижении по службе, он доверительно объяснил, что в настоящий момент имеет место нехватка командных кадров.

На остановках комбриг, несмотря на жгучие морозы, прогуливался по перрону без шинели, в одной гимнастерке. Я злился на маму: отпуская с ним, она заставляла меня влезать в зимнее пальто на вате, уже коротковатое, узкое в плечах, трудно даже руку поднять. Мы шли по перрону, снежок поскрипывал под сапогами комбрига, люди на него оборачивались, я вышагивал рядом, распираемый гордостью, но стараясь всем своим видом показать встречным, что мне привычно вот так, запросто идти с комбригом, что мы не случайные попутчики — друзья, что он, может быть, вообще мой старший брат. Над перронами, в гулком морозном воздухе, вырываясь из раструбов громкоговорителей, гремели бодрые песни. «И кто его знает, чего он моргает, — визгливо кричал хор, — чего он моргает, чего он моргает...»

Четвертой в нашем купе оказалась неприметная молодая женщина в черном платье и черной косынке; помню только ее тонкие с голубыми прожилками кисти рук, неподвижно лежащие на коленях, — в одной руке она всегда держала большой свернутый четырехугольником носовой платок, которым не пользовалась, просто держала в руке, как нечто необходимое. Комбриг, едва начали устраиваться, уступил ей нижнюю полку, и, к моей радости, сделался моим соседом по верхней, на которую взлетал особенным красивым и легким движением, будто выполняя гимнастическое упражнение.

Когда мы шли за кипятком, он прихватывал чайник соседки в черном.

В первых числах января 1937 года мы с мамой ехали в Новосибирск к деду.

Наша поездка была внезапной.

Мама очень любила деда, и он, мне кажется, любил ее больше других детей, из которых к этому времени, кроме нее, осталось в живых только двое — Эстер неведомо где, за границей, и младшая, Ольга.

Мама верила в предчувствия, в особенности, когда они касались деда, и в самом деле угадывала, если он заболел, что с ним случилось, впрочем, крайне редко.

В новогоднюю ночь ей приснилось, будто в комнату к деду залетел воробей — по ее иерархии, примета угрожающая, — на завтра она собиралась позвонить в Новосибирск, но в тот день, первый день Нового Года, папа пришел с работы (выходным первое января сделали много лет спустя) и озабоченно сообщил, что арестовали Кирова. Папа к этому времени стал его заместителем, так что оснований для тревоги было предостаточно. «Я так и знала, что случится что-нибудь, — сказала мама. — Такой мне сон нехороший снился». Видимо, страшная новость вытеснила деда из ее воспоминания о нехорошем сне, а влетевший в окно воробей остался. Весь вечер допоздна мама с папой негромко беседовали, пересматривали бумаги в ящиках письменного стола, что-то порвали, мама вынесла клочки на помойку, что-то сожгли в уборной, в унитазе. А в школе нам задавали изложения по книге «Мальчик из Уржума» (обязательное чтение), о детстве Сережи Кострикова, из которого вырастет позже Сергей Миронович Киров, пламенный большевик, верный соратник товарища Сталина, злодейски убитый врагами народа. И оба Кирова, «товарищ Киров на смертном одре» с застрявшей в памяти газетной фотографии, вызывавшей вместе страх и любопытство, и папин Киров, каким он не столько помнился, сколько представлялся мне, в светлом френче и фуражке идущий по тропе от станции к нам на дачу, сливались в одно общее, появившееся в моей жизни, неудобное и пугающее.

Назавтра, ни свет ни заря (разница во времени между Москвой и Сибирью) нас поднял долгий, пронзительный между-

городний телефонный звонок. Мама, босая, в длинной ночной рубашке подбежала к висевшему на стене черному ящичку аппарата. Ольга сама звонила из Новосибирска.

— С дедом плохо. Непременно хочет тебя видеть. Говорит — попрощаться. Приезжай, если сможешь, — сказала она маме.

— Да что такое?

— Приезжай, — не объясняя, повторила Ольга. — Я тебе телеграмму пошлю, чтоб со службы отпустили.

— Вот и поезжай. И хорошо. Все само собой решается, — сказал папа.

Несмотря на ранний час он был уже в обычной белой сорочке с крепко накрахмаленным пристежным воротничком и при галстукке. Папа вставал до света, выпивал стакан крепкого чая и садился за свои научные занятия. Он не любил одеваться «по-домашнему» — всегда воротничок, галстук: «никаких шлепанцев», по его выражению.

— И его возьми, — кивнул на меня папа. — Все равно каникулы. Что ему тут одному болтаться. И вообще хорошо, чтобы он был при тебе.

Возможность дальнего путешествия привела меня в восторг. Укутавшись одеялом, я замер на своем диванчике.

— Я знаю, о чем ты думаешь. — Мама потянула из бумажной пачки папиросу. — Именно поэтому я и не хочу ехать.

— Не кури натошак, — сказал папа, хотя сам поднес ей зажженную спичку. — Деду ты нужна. А здесь от тебя ничего не зависит.

— Я не хочу вернуться в пустой дом.

— Чепуха. Я ни в чем не виноват.

— А твой Киров виноват?.. А Рубен?.. А Иван Михайлович?.. — мама слегка повысила голос.

Дядя Рубен, давний мамин приятель, они познакомились на фронте еще во время мировой войны, устраивал со мной французскую борьбу. Широко расставив короткие ноги в желтых крагах, он с угрожающим рыканьем шел на меня, долго, но не больно мял и ломал крепкими волосатыми руками, ко-

гда же я, поверженный, лежал на обеих лопатках, с победным «ура» садился мне на грудь, доставал из кармана особенную длинную спичку, зажигал ее, чиркнув о подметку моего ботинка и закуривал. Теперь дядю Рубена арестовали, и мама предупредила меня, чтобы не называть его имени при чужих. Иван Михайлович и вовсе был наш управдом — суетливый человек, в темно-синем френче и высоких сапогах, на подслеповатых глазах маленькие очки в металлической оправе; он жил этажом ниже нас, точно в такой же двухкомнатной квартире. Знакомый мальчик из нашего подъезда сказал мне, что при аресте у Ивана Михайловича нашли фотографию, на которой он снят с генералом Деникиным.

— Я ни в чем не виноват, — негромко повторил папа.

Он снял пенсне, нацепил на палец и потер намятую переносицу. Я понял, что он недоволен.

— Ты служил в царской армии, служил в белой армии...

Мама прикурила от первой папирасы новую.

— Я служил и в красной армии. И всюду был врачом, только врачом.

— Это не имеет значения. Для них вообще не имеет значения, виноват ты или нет.

— Для меня имеет значение. Не кури так много.

Душистым платком папа промокнул выступившую на глянцевої лысине испарину.

— Глупый... — сказала мама и поцеловала его в лысину.

Вечером почтальон принес телеграмму, заверенную в райздраве: «отец при смерти срочно приезжай ольга».

Комбриг затянулся в португепю и отправился ужинать в ресторан. Я лежал на верхней полке и смотрел в окно. В темноте ничего не было видно — только небо и снег, и на подъезде к небольшим станциям, которые наш курьерский проскакивал без остановки, разбегались в стороны желтые и лило-

вые огоньки стрелок и запасных путей. Внизу, у вагонного столика женщина в черном платье пила чай и тихо разговаривала с мамой.

— ... думали, гадали и снарядили меня отца искать.

— Да как же искать? Сибирь вон какая!

— Последняя весточка из Красноярска была. По нашим, по староверам пойду. Один к другому направит. Кто-нибудь, смотришь, где-нибудь и приметил...

В Новосибирск поезд прибыл на четвертые сутки. На вокзале нас встречал Семен Александрович, муж Ольги. Несмотря на мороз, он был в распахнутом пальто, без шапки. В его кудлатых рыжих волосах путались снежинки.

— Дед жив? — спросила мама, едва соскочила со ступеньки вагона на перрон.

— А что с ним делается! — хохотнул Семен Александрович. — Он и нас с тобой переживет.

— Так ведь телеграмма...

— От гиппопотама!..

Семен Александрович, снова хохотнув, глянул на маму. У него был дерзкий взгляд, удивленный и веселый, будто он ждал, что ты выкинешь какую-нибудь штуку и одновременно тебя подбадривал: ну, давай, давай, выкини!..

Он принял из рук комбрига наш чемодан и сак с постелью, быстро связал их вместе приготовленным ремешком и легко, будто в них и весу никакого не имелось, бросил через плечо. Меня удивило, что к комбригу он отнесся без всякого почтения, уронил небрежно: «Спасибо, командир», и зашагал, крепко ступая своими ножищами, так что мы с мамой едва за ним поспевали: «Машина ждет, служебная, дали в стройуправлении».

— Ты что — одурел! — мама даже кулаком стукнула его по широкой спине (он и не заметил). — Про деда скажи!

— Скажу. Насквозь живой. Кашу ест, и добавку просит. Сейчас сама увидишь.

И повернулся ко мне:

— У нас тут в цирке французская борьба. Жулики, а глядеть занятно.

— А, Маня! Приехала? Спасибо. А то бы и не свиделись.

Дед сидел в кресле, точь-в-точь такой, каким я видел его в последний раз, несколько лет назад, когда приезжал с мамой на похороны бабушки. Он не поднялся нам навстречу. Лицо его было серьезно, и холодные глаза смотрели, казалось, поверх наших голов. Мама быстро подошла к нему, поцеловала в обе щеки, взяла обеими руками его большую руку и тоже поцеловала. Не выпуская из своих рук его руки, легко, как девочка, присела возле него прямо на пол.

— Что с тобой, папочка?

— Хоть доктор, а не поможешь.

Он высвободил руку и провел ладонью по ее волосам.

— Смотреть, Маня, устал. Помнишь Гришу?

И повторил:

— Устал смотреть.

Гриша был младший мамин брат. Я никогда его не видел. Он умер в 1919 году. Отступая, колчаковцы призвали в армию гимназистов старших классов. Мальчиков вывели за город, на заснеженный пустырь, поставили оцеплением. Потом туда же пригнали партию арестованных, назначенных к смерти. В толпе, среди пленных красноармейцев, рабочих, железнодорожников, людей в крестьянской одежде, Гриша увидел знакомого гимназиста, с которым однажды играл в городки, журналиста-еврея, подписывавшего статьи в городской газете именем «Минус», нескольких торговцев, знакомых отца. Солдаты выхватывали из толпы по два-три человека, первых, кто под руку попал, строили рядком у невысокого сарая на краю пустыря, офицер, командовавший экзекуцией, кричал «пли», стрелки давали залп и тотчас снова заряжали винтовки. Тех, кто не умер сразу — некоторые из них страшно кричали — офицер пристреливал из пистолета. Трупы отгаскивали в сарай. Многие люди в толпе тоже кричали, плакали, упирались, когда их волокли к стенке. Солдаты подгоняли их прикладами. Снег около сарая был забрызган кровью.

Вечером, возвратившись домой, Гриша заболел. У него началась горячка. Известный новониколаевский врач Исто-

мин, с давних пор пользовавшийся дедову семью, нашел воспаление в обоих легких. Лекарств не было. Гришу поили чаем с малиной, заворачивали в вымоченную в кипятке простыню, сыпали в шерстяные носки сухую горчицу, — он таял на глазах; на третий день уже никто не верил, что он поднимется. Гриша лежал, закрыв глаза. Дед сидел возле, просил: «Сынка, погляди на меня». Гриша, не открывая глаз, отвечал: «Устал смотреть».

В соседней комнате Ольга накрывала на стол, стучала посудой, громко считала, сколько нужно тарелок: «две, три, четыре»...

— Шумные, — сказал дед и кивнул на дверь. — Гомонят, гомонят...

Он снова погладил мамину голову:

— Ты, Маня, не сердись, что потревожил тебя. Чутьем слышу, прощаться пора. Рассказывать — не хочу повторять: расчесывать. Они знают, — кивнул он на дверь. — Поспешат, расскажут.

— К столу! — протяжно позвала из соседней комнаты Ольга.

Семен Александрович возник в дверях, горнистом подудел в кулак, громко пропел: «Бери ложку, бери хлеб, собирайся на обед!.. Тру-ту-ту-ту!»

— Гуран! — дед в первый раз с тех пор, как мы вступили в дом, улыбнулся, обнажив на миг крупные белые зубы. Он называл Семена Александровича «гураном» — так в Восточной Сибири именуют горных козлов и так, там, на Востоке, мужчины-сибиряки нередко себя именуют...

О том, что случилось с дедом, мы узнали после обеда (дед ел с аппетитом, намазывая хлеб горчицей), когда он, по обыкновению, отправился на часок соснуть.

Накануне Нового Года деда арестовали. После полуночи пришли втроем, понятым, как было принято, прихватили рябого дворника Антона. За последние месяцы Антон стал привыкать к исполнению новой обязанности, — подвыпив, дове-

рительно говорил Семену Александровичу, с которым вел дружбу по общей рыбалке: «Как со всех квартир вас заберут, так и меня прикончат. Много знаю». Обыск длился недолго: в комнате у деда вещей было наперечет, да, похоже, ничего и не искали. Когда стали уводить, Ольга спохватилась:

— Сухарики хоть возьми! Семен Александрович, сухарики ему дай, — может быть, кушать захочет, погрызет...

К новогоднему столу Ольга заранее напекла сухариков с изюмом и орехами (такие бабушка всегда пекла) и, пряча от Юрки, держала их на шкафу в картонной коробке из-под обуви.

— Начальник, сухари можно? — спросил Семен Александрович у старшего, который все недолгое время обыска молча стоял на пороге дедовой комнаты, не опустив воротник пальто и не снимая шапку-ушанку.

— Давай. Там разберутся, — безразлично отозвался старший. И вдруг посоветовал: — Вы б ему лучше теплые подштанники положили.

Когда в управлении деду приказали открыть коробку, в ней, вместо сухариков, оказались елочные игрушки: сверкающие шарики, хлопушки в золоченой бумаге. Ольга с Юркой накануне наряжали елку, оставшиеся украшения сложили в упаковку из-под обуви, похожую на ту, в которой хранилось печенье, и поставили туда же, на шкаф. Ольга в растерянности про нее позабыла.

— Во дает! — усмехнулся дежурный, принимавший деда. — Прямо дед-мороз!..

Камера была переполнена. Среди находившихся в ней дед, к удивлению, узнал нескольких знакомых ему партийцев, между ними и начальника конторы, которой принадлежал склад, где он до недавнего времени работал. (Два года назад, когда стукнуло семьдесят пять, дед оставил место и жил на иждивении детей; Семен Александрович выхлопотал ему пенсию — 28 рублей.) Начальник конторы попросил товарищей потесниться на нарах, высвободить деду места побольше: «Это у нас старик серьезный».

Разлеживаться деду не дали. Следователь Капралов, маленький, чернявый (дед мысленно окрестил его «огарышем»), исподлобья оглядел деда:

— Ну, с чем пожаловали?

— Жаловать мне вас нечем. Сам бы не пожаловал, кабы не привели.

Следователь Капралов повозил по столу серые исписанные бумажки:

— Я вас позвал не шутки шутить. Обвиняетесь в контрреволюционном преступлении.

— Любопытствую узнать — поинтересовался дед.

— А вот вы нам сами и скажете. — Капралов придвинул к себе чистый листок, взял из стакана ручку с пером, обмакнул в чернильницу. — Что затевали? Кто сообщники?

— Неосновательный разговор, — сказал дед. — Я загадки разгадывать не мастер.

— Если упираться, можно и высшую меру получить, — следователь Капралов мрачно смотрел на деда. — В ваших же интересах...

— Я свой интерес отжил. — Дед опустил голову и прекратил беседу.

(— Нет, не били, — рассказывал он, по возвращении. — Орать — орал. И присесть не давал полночи. Но не бил. Пальцем не тронул.)

Дед удивлялся, что люди в камере, претерпевая тюремные муки, доживая, быть может, последние часы жизни, так много говорят о политике: об испанской войне и войне в Китае, о недавних выборах в Верховный совет, о строительстве в городе авиационного завода. «Пустые хлопоты», — обозначил эти разговоры дед: так бабушка называла, когда, гадая, раскладывала колоду и ей выпадала какая-то неприветная карта (дед в гадание не верил). Дед молчал и в камере. Он вообще был не из болтливых, а, оказавшись здесь, положил для себя наперед, что жизнь на том и кончилась, — говорить сделалось не о чем. Он вспоминал прошлое, оно открывалось ему в ярких, осязаемых, манящих подробностях. Настоящее было — вонючая камера, жесткие нары, баланда в мятой жестяной миске и кусок хлеба,

которые дед исправно съедал, невольное ожидание, что снова поведут к огарышу. Все это дед определил, как начало конца, которое желал поскорее миновать, — в будущую жизнь дед не верил. Вечером следующего дня начальника конторы увели из камеры, больше он не вернулся. Под утро снова взяли на допрос деда. Следователь Капралов опять грозил расстрелом, говорил, что имеет на него показания, упоминал имена разных знакомых, в том числе и начальника конторы, упирал на чисто-сердечное признание и требовал, чтобы дед подписал какую-то бумагу. Дед даже с некоторой жалостью смотрел на смуглое, беспокойное лицо следователя. От долгого стояния ноги у деда отекли и сильно болели. Он не выдержал и сказал:

— Запиши там, что я помер. И вам легче, и мне.

— Без вас разберемся, живой вы или мертвый, — рассердился огарыш и еще долго ругался и совал под нос деду испанский серый лист.

Следующие сутки деда не трогали. За эти сутки население камеры изрядно сменилось: люди исчезали, на их место приходили новые. Под утро четвертого дня дед заметил, что его ведут не по тому коридору, что прежде. Кабинет, куда привели, был большой, светлый, с ковром на полу.

— Здорово, хозяин! — весело приветствовал его владелец кабинета, сидевший за большим письменным столом. — Поди, не чаял встретиться?

Дед, шурясь на свету после мрачного коридора, пригляделся: это был Рваная Норка.

— Здравствуйте, Иван Акимыч. Кому я теперь хозяин? Я, вон, и самому себе не хозяин.

— Гляди-ка, а ты, оказывается, меня по имени по отчеству знаешь! Не ждал. Как, хозяин, живешь-можешь?

— Я-то уже не живу, а мочь теперь ваша, Иван Акимыч.

— Значит, хозяин, все-таки наша взяла?

— Чей черед, тот и берет, Иван Акимыч.

— Заладил, Иван Акимыч, Иван Акимыч!.. За глаза, поди, все Рваной Норкой величаешь? Сколько тебе годков-то? Семьдесят семь? Ладно, хозяин, погуляй пока на воле, поживи пока глаза глядят, увидишь, что дальше будет. Только своего череда обратно не жди — не дожدهшься.

(Рассказывая про Рваную Норку, дед прибавил, что гимнастерка на нем была хорошего сукна — «я так думаю, что новгородского», — на огарыше не в пример похуже.)

Деда тут же отпустили. Не найдя в кармане трехкопеечной монеты на трамвай — просто так денег при себе не носил: уходя, брал строго по надобности, — он по январскому морозу за час добрался с окраины до дому. «Хорошо баланду хлебал, — дед произносил по-старинному, с ударением на последнем слоге, — а то бы и не дошел. Свежий воздух сильно в голову ударил — ступаю, ничего не вижу, круги перед глазами».

(Ольга говорила громко, убежденная, что говорит шепотом. Они с Семеном Александровичем часто и как-то не к месту вскидывались смеяться, и тоже очень громко. Мне казалось, что дед в соседней комнате слышит разговор и смех, и было за них стыдно.)

Дома дед объявил, что жить ему осталось с воробьиный шаг и попросил вызвать маму, чтобы с нею попрощаться. С утра, после завтрака, одетый по всей форме в старый сюртук, он усаживался в кресло и, закрыв глаза, сидел молча. Возле, на стол клал старинные карманные часы, как бы призванные отсчитывать тот небольшой отрезок времени, который ему еще оставалось жить. На вопрос «что болит?» он твердил свое, что устал смотреть. Кушал, однако, охотно, также оживлялся, когда по вечерам Семен Александрович приглашал его перекинуться в картишки: сопровождал игру меткими примечаниями, сердился на партнеров и по-прежнему не проигрывал.

— Смутительный старик, — подытожил Семен Александрович. — Ну, кого в восемьдесят лет забирают? Разве только похоронная команда заберет. Нашего — нате вам забрали. С другой стороны, кого берут, того уж не выпускают. А наш на четвертое утро опять в дверях — подавайте завтрак...

Дед громко кашлянул в соседней комнате, мне было ужасно неловко перед ним.

Вечером Семен Александрович усадил деда играть в подкидного дурака. Сражались двое на двоих: Семен Александрович с сыном Юркой, моим двоюродным братом, против нас с дедом.

Юрка был двумя годами старше меня. Он плохо учился, в школе и во дворе слыл изобретательным хулиганом. Семен Александрович лупил его военным ремнем с большой пряжкой. После войны, в бане Юрка показывал мне рубцы на спине — следы отеческой порки. На фронте — служил в артиллерии — Юрка ни разу не был ранен, только контужен однажды; боевых шрамов на нем не имелось. Отца Юрка отчаянно боялся, во время игры он, как собака у строгого хозяина, ловил каждое его движение, взгляд, недовольное побряхтывание или удовлетворенный хохоток. У нас дома карты не водились, с моим скудным опытом играл я плохо, мы с дедом проигрывали, и это ему не нравилось. «Ты поначалу-то не спеши крыть, — говорил он, тасуя. — На руках карта хорошая, а в колоде невесть что. Смолоду протратишься — с чем старовать будешь». Он по-прежнему называл меня по имени и отчеству. Когда я сделал какую-то особенно непростительную ошибку, он с холодным любопытством посмотрел на выложенную карту и проговорил, ни к кому не обращаясь: «Умный товарищ — половина дороги». Семен Александрович расхохотался. Я обиделся на деда и решил, что он меня не любит.

Ближе к ночи Семен Александрович пользовался наступившей тишиной и устраивался читать. Прежде чем взяться за книгу, он набирал в кладовке из мешка лесных орехов, насыпал в глубокую тарелку и заливал черносмородиным вареньем. Читая, он ел большой ложкой варенье с орехами. Дед говорил: «То ли чтение с вареньем, то ли варенье с чтением».

Когда Семен Александрович устраивался с книгой, на плечи ему взбирался его любимец, большой откормленный кот Котофей Васильевич. Котофей Васильевич был белый, с ярко-розовым носом и ярко-розовыми подушечками на лапах. Время от времени на Котофея нападали припадки нежности: он выпускал из подушечек кривые желтые когти и страстно впивался в могучую спину хозяина. Семен Александрович, не отрываясь от чтения, громко кричал: «Гав-гав! Укушу! Подлец, Котофей!»

Книги Семен Александрович выбирал только по истории — описания событий, биографии известных деятелей, воспоминания, исторические романы, иногда и научные исследования.

— Дураки люди, — выводил он из прочитанного. — Я котенка два раза ткну носом, он на третий в нужник ходит. А люди пять тысяч лет тычутся, и каждый раз все сначала.

— То-то и оно, что людей всё в нужник норовят, — откликнулся дед. — А они и так в нужнике. Ты их научи в чистых комнатах жить.

— Расстреляют тебя дед, — восторженно тряс рыжей головой Семен Александрович. — Испортишь ты мне анкету!..

Мама целые дни сидела возле деда и разговаривала с ним. Сам он говорил мало, но слушал ее охотно, расспрашивал о том, о другом.

От маминой помощи по хозяйству Ольга отказывалась:

— Я иду с работы, все покупаю. Уже знаю, где что. Ты лучше сиди с ним, беседуй. Может, из него за беседу, дурь выйдет. Старческого психоза у него пока не обнаруживается. Голова — дай Бог нам с тобой. Это всё психотравма. От пережитых эмоций.

Ольга работала заведующей регистратурой в городском психдиспансере. Она рассказала, что в коридоре, где больные ждут приема, у них висит большой портрет Сталина с восточной девочкой на руках. На днях пришла какая-то бабка, начала молиться на портрет и плясать перед ним. Все перепугались до смерти. Главврач велела срочно вызвать перевозку с санитарями, отправить бабку в больницу. Потом все ходила, советовалась: писать докладную или нет.

— Глупый народ, — сказал дед.

— У нас не глупые, у нас больные, — поправила Ольга.

— Я не про старуху.

Семен Александрович сам не курил и сердился, что Ольга курит. Она приходила покурить с мамой в комнату к деду. Они сидели в углу, дымили папиросами и секретничали. Ольга говорила своим громким шепотом:

— Он Юрку не любит. Ждал, что будет рыжий, как он сам. У них в роду все мужики рыжие. А Юрка черный вышел. Чем он виноват, чтоб его лупить? Все подозревает. Это он из-за Петра Мохова. Помнишь, с железной дороги? Голубые глаза, сколько страсти, огня!..

Ольга смахивала ладонью слезы и громко хохотала.

Я делал вид, что читаю, и ничего не слышу. Дед сидел неподвижно, закрыв глаза, — то ли слышал, то ли, и вправду, нет.

Вопреки ожиданиям, каникулы у меня получались скучные. На другой день после приезда Юрка позвал меня гулять: «заодно и город посмотришь». Но города я не увидел. Он и два его приятеля дотемна суетились в путаных дворах и закоулках. Какой-то мальчик, вызванный ими на улицу, вынес альбом с марками, который они у него отняли и при этом пригрозили, чтобы молчал. Мальчик плакал, мне было его жалко. Потом они оставили меня ждать у ворот, а сами отправились куда-то во двор продавать марки, но предприятие, как я понял, не увенчалось удачей. Я устал, замерз, главное же, все время боялся и не мог дожждаться, когда, наконец, вернусь домой. Больше я с Юркой гулять не ходил, впрочем, он меня и не звал больше.

В шкафу у Семена Александровича я обнаружил брокгаузовское издание Шекспира — тяжелые тома в роскошных переплетах с красивыми иллюстрациями, каждая была покрыта полупрозрачной желтоватой вощенной бумагой. Я начал с исторических хроник: меня привлекали маленькие гравированные гербы в списке действующих лиц, возле имен королей, герцогов, графов. Дни вдруг наполнились смыслом, мне казалось, я чувствую вес времени. С утра я садился у окна, спиной к маме, к деду, раскладывал толстую книгу на подоконнике (держат ее в руках или на коленях было неудобно) и, почти не отрываясь, сидел над ней, пока за окном не начинало густо синеть, — тогда я перебирался поближе к лампе. Никогда после мир Шекспира не был для меня таким несомненным и ясным, как в ту январскую шестидневку 1937 года, никогда после я не

жил в нем так доверчиво, погружаясь в него всем своим существом. Конечно, я не понимал тогда девяти десятых того, что открыл в Шекспире потом, но, мне чудится, мальчиком, при первой встрече с ним я понял нечто более важное, что после оказывалось для меня недоступно или оставалось во мне памятью о прошлом знании. Мама гнала меня на воздух, я сопротивлялся; дед прекращал споры — брал маму за руку, привлекая ее внимание к себе: «Оставь его — не ворон гоняет».

Однажды, когда мамы не было в комнате, он вдруг сказал:

— Читай вслух.

Я даже вздрогнул от неожиданности.

— Что читать?

— Все равно. Что сейчас про себя читаешь, то и читай.

Громко.

Я начал читать с полуслова. Кажется, это был «Ричард III».

Дед слушал с четверть часа, потом перебил меня, махнув рукой.

— У Адельгеймов слова крепче были. Твои что-то жидковаты.

Я обиделся и замолчал. Он, похоже, и не заметил.

Под выходной Семен Александрович повел меня с Юркой посмотреть французскую борьбу. В те годы старая цирковая борьба, почти всюду изгнанная с ковра, уступила место настоящим спортивным соревнованиям. Лишь кое-где, уцепившись с краю новой советской жизни, она доживала свой век на радость верным любителям, доживавшим век вместе с ней.

В тот вечер я с первого взгляда влюбился в странных людей на арене, совсем не таких, как физкультурники, которые в кинохронике шагают строем и делают пирамиды на парадах. Теперь я понимаю: меня увлекла штучность, неповторимость каждого из них — их яркие разноцветные трико, подчеркнута театральные ухватки, у каждого свои, с которыми они вели борьбу, преувеличенная жестикуляция, нарочитые крики гнева и боли, страшные, исподлобья, и яркие, полные открытого дружелюбия взгляды сверкающих глаз, ослепительные улыбки.

ки. В отличие от тех, что шагали на парадах и делали пирамиды в виде пятиконечной звезды, борцы из цирка не были похожи на типовые статуи белых гипсовых атлетов, которыми все гуще окружало нас время. С первой минуты, как только они выстроились на арене и распорядитель во фраке, с напудренным лицом и накрашенными губами, нараспев, растягивая звуки, представлял участников, я на всю жизнь запомнил их лица и имена, и трое из них тотчас стали моими любимцами — светловолосый тевтонец Рихтер (Саратов), демонического вида Пасман (Минск) и грузный старик Юсуф-Мирза (Ташкент), с обрюзгшим лицом, чуть ли не кривой на один глаз, — его огромный живот колыхался в розовом трико. «Ташкент! Пять лет назад у нас на автобазе грузчиком работал», — подмигнул нам, хохотнув, Семен Александрович, — но для меня это уже не существовало: происходившее на арене было несомненно и безоговорочно, как борьба Ричарда Третьего за престол в трагедии Шекспира. Задыхаясь от волнения, я следил за схватками. Борцы выбывали один за другим — все трое моих избранников уверенно двигались к финишу. Когда жребий свел Юсуфа-Мирзу с Пасманом, я сходил с ума, не зная, кому отдать предпочтение. Победил Пасман. Я страдал за старика, который, колыхаясь в розовом трико, с печальной сосредоточенностью покидал арену, и восторгался победителем, его широкими плечами, горящими глазами под круто изогнутыми черными бровями и носом хищной птицы. В последней решающей схватке сошлись Пасман и Рихтер. Борьба длилась долго. Она напоминала танец. Приемы следовали один за другим. Распорядитель с накрашенными губами стоял перед красным бархатным занавесом артистического выхода и поставленным голосом выкрикивал названия приемов: «нельсон», «двойной нельсон», «мост». Неожиданно Пасман, изловчившись, бросил Рихтера на арену и, захватив его руку, упорно вынуждал перевернуться на спину. Судья распластался на ковре, чтобы не пропустить момента, когда поверженный борец коснется земли обеими лопатками. Зрители в волнении поднялись с мест. Наконец, все было кончено. Цирк бурно рукоплескал. Победитель, ослепительно улыбаясь, про-

тянул побежденному обе руки. «Завтра Рихтер победит. У них по графику», — весело пообещал Семен Александрович. Но и он хлопал, гулко, будто стрелял, его огромные ладони даже покраснели.

Когда я прощался с дедом, он взял со стола свои старинные карманные часы и протянул мне:

— Возьми, сына (он впервые не назвал меня по имени и отчеству). Мое время кончилось. Пусть теперь твое считают.

Часы были тяжелые, толстые, из темного металла, дед именовал их «черными» или «чугунными». Они заводились маленьким ключиком.

Нынешний сверстник меня тогдашнего не в силах понять мою радость. В то время, о котором я пишу, даже взрослые (о подростках и речи нет) в большинстве своем часов при себе не носили. Если у кого имелись, то обычно карманные. Наручные часы были редкостью. Они расплодились по-настоящему лишь после войны. Сперва трофейные — возвращавшиеся в отечество фронтовики привозили их во множестве (у иного на обеих руках от запястья до локтя пять-шесть штук), продавали, обменивали на продукты и одежду, на табак, на выпивку. Старые немцы, захватившие войны, помнят первое слово-требование, с которым вваливались в их дома советские солдаты-победители: «уры» (то есть «Uhr» — часы). Потом и наша промышленность освоила массовое их производство; но еще долго несравненно выше ценились эти старенькие победные «мозеры», «омеги», «ланжины».

Но до войны четыре с лишним года, до победы еще четыре, а у меня уже — собственные часы, вторые карманные в нашем доме. У папы тоже есть свои, советского производства, плоские, с никелированной задней крышкой, на которой канцелярским с завитушками почерком гравировано: «Ударнику производства». На желтоватом циферблате такие же округлые канцелярские цифры. У дедовых часов циферблат фарфоровый, цифры римские — удлиненные, тоненькие с наконечниками стрелки, похожие на копья с иллюстрацией к историческим хроникам Шекспира.

Дедовы часы отмахали без перебоев еще полвека. Два раза я, правда, давал их чистить хорошему мастеру. Остановились они лишь в конце восьмидесятых. Знакомый мастер уже не работал в артели, я отыскал его по домашнему адресу. Он стал совсем стариком. Годы сидячей работы согнули его спину крутой дугой. Вооружив глаз окуляром, мастер открыл крышку часов и долго рассматривал замерший в неподвижности мир шестеренок, колесиков, пружинок и рычажков.

— Тут ничего уже не поделаешь, — грустно вынес он свой приговор. — С ними произошло то же самое, что со мной. Механизм сносился, а запасных частей к ним, как и ко мне, теперь не подберешь. Другое время, другие часы...

Обратную дорогу я почти не помню. Какую-то часть пути нашими соседями по купе оказались два молодых ученых, они представились как специалисты по искусственным удобрениям. Мама сказала, что у нас в подъезде живет профессор-химик Фогт, он, кажется, тоже занимается искусственными удобрениями; его жена, Антонина Ивановна, учит меня рисованию. Ученые обрадовались, заулыбались: как же, профессор Фогт — их учитель, и с Антониной Ивановной они знакомы. (По возвращении мы узнаем, что Фогт арестован.) На больших станциях химики приносили нам кипяток. Последние сутки, если не дольше, мы ехали вдвоем, на освободившиеся места никого не посадили. Вагон вообще был не по-обычному пустоват. Проводник объяснил, что в последнее время в Москву ездят меньше. Мама панически боялась выходить на остановках, меня одного, понятно, тоже не выпускала. Мы жевали всухомятку крутые яйца и испеченные Ольгой на дорогу пирожки.

Из Новосибирска мама ежедневно звонила домой. Она закладывала разговор с самого утра, но соединяли только после полуночи — в Москве были предрассветные, самые тревожные часы. Когда телефонистка предупредила, что в течение часа даст номер, мама сядила у телефона, непрерывно курила и отстукивала ногой такт какой-то быстрой мелодии. Она конспиративно спрашивала папу: «Ну, что там?» Он бодро отвечал:

«У нас все дома». Дед одобрительно кивал: «Уж у него все дома. Головой остойчив».

Пока мы находились в дороге, мама изнемогала от неизвестности. Она почти не разговаривала со мной, без интереса смотрела в окно, непрерывно курила и жаловалась на недостаток воздуха. Мама, сколько я ее знал, всегда легко тревожилась, от волнения задыхалась, смолоду была убеждена, что у нее большое сердце, и, сама врач, не верила обследованиям, опровергавшим ее убежденность. Она постоянно принимала капли и порошки, которые себе, по собственному разумению, прописывала, и с этими средствами протянула до девяноста четырех лет. Перед смертью она, в самом деле, задыхалась — легкие от старости отказывались работать. Она кашляла. Ужасаясь, я забирался пальцами ей в рот и вытаскивал длинные, с палец, и такой же толщины, плотные, как резина, тяжи, забивавшие ее бронхи. Когда она умерла, врач, сидевший возле нее с фонендоскопом сказал удивленно: «В такие годы и какое сердце могучее. Ее уже нет. Мозг не функционирует. А мотор все стучит и стучит»...

Поезд останавливался на разъездах и небольших станциях, на которых не должен был стоять, — пропускал встречные. Мама накидывала пальто и выходила курить на площадку — на свежий воздух. Я, хоть и был уверен, что она не спустится со ступенек на землю, не хотел оставаться один и отправлялся за нею.

Мы стояли на площадке. Дверь была отворена. Наш состав отправили на запасной путь, далеко от станционной платформы. За путями, на краю белого поля, тянулись склады и пакгаузы. Ветер гнал над землей мелкий снег, он быстро забеливал черные гребешки копоты на заснеженном пространстве между рельсами. Мама жадно курила. Время от времени она, взявшись за поручни, высовывалась из двери — смотрела, не показался ли встречный. Она все время подсчитывала, на сколько мы опоздаем прибытием в Москву из-за всех этих задержек. Встречный поезд возник внезапно — темная масса паровоза будто вынырнула из-за угла, — пронзительный гудок так неожиданно разорвал воздух, что мы с мамой испуга-

лись. Снизу торопливо взбирался по ступенькам невесть откуда взявшийся проводник: «Запрещено на подножке стоять!» Он с силой захлопнул дверь и, запыхавшись, пробежал в вагон. Мы последовали было за ним, но в этот момент встречный состав, стуча колесами, покатился мимо, мама крепко сжала мою руку в своей, и мы остались на площадке. Я увидел череду грязно-зеленых вагонов с зарешеченными окнами и вперемежку с ними красные товарные вагоны — на открытых площадках стояли вооруженные винтовками часовые в завязанных на подбородках шапках-ушанках, в тулупах и валенках. Я не заметил, как это произошло, и теперь даже воображение не помогает мне хотя бы приблизительно восстановить подробности: помню только, из одного вагона, оказавшегося как раз против нашего, вырвалась вдруг на волю стайка белых клочков бумаги, — сколько их там было? восемь? десять? Ветер подхватил их, одни взвихрил ввысь, другие поволок по земле вдоль путей. Один такой клочок вдруг заметался перед нашими глазами, приник к мутному от дорожной грязи стеклу вагонной двери, какое-то мгновение неподвижно прижимался к нему, будто умоляя впустить, и, не дождавшись, бессильно скользнул вниз, на землю. Мама, помедлив, — так коротко, что я лишь по тревожному удару сердца, ощутил это промедление, — решительно повернула ручку двери, ловко сбежала по лестнице, прыгнула на землю, подхватила бумажку в карман и так же скоро поднялась обратно. «Никто не заметил?» — И тут же прибавила: «Смотри помалкивай». Я обиделся: будто сам не знаю!..

Проводник с желтым флажком в руке, по-прежнему запыхавшись, показался из вагона.

— Из-за вас и мне достанется, — сказал не строго.

— Да мы как-то и не успели. Пока докуривала...

Мама повернулась ко мне:

— А ты опять без шарфа. А ну, марш на место! Будешь потом с ангиной валяться!

Наш поезд опоздал на четыре часа. Папа нас не встречал. Из громкоговорителя на вокзале разносилось беспечное «И кто его знает, чего он моргает...» Носильщик в белом фартуке

с шестиугольным жестяным номером на груди погрузил наш чемодан и сак с постелью на извозчика. Мне хотелось на такси, но машин было мало, на стоянке вытянулась очередь, кроме того, мама, по каким-то своим приметам, возвращаясь с вокзала домой, всегда брала извозчика. Мы устроились на мягком диване под черным кожаным верхом. Извозчик, прежде чем взобрался на козлы, покрыл нам колени кожаным фартуком. Снег сыпал медленный, крупный, такой густой, что неба почти не было видно. Лошадь, цокая подковами по булыжнику, неторопливо поднималась по Каланчовке к Красным воротам.

До самого дома мама не произнесла ни слова.

Папа нам очень удивился. Он уже был на вокзале, там объявили, что поезд опаздывает на шесть часов, папа возвратился домой и собирался вскоре ехать снова.

Мама смотрела на него внимательными, испуганными глазами. Я видел, что она его не слушает.

— Ну, как ты? — спросила она.

— Как все, — сказал папа. — Пока мы живы, смерти нет. А смерть придет, так нас не будет.

Он очень любил эти строчки. Когда-то он переписал их своим острым почерком на кусочке картона и поместил под стеклом на письменном столе. Я достал оттуда картонку в день его смерти. За долгие годы фиолетовые чернила выцвели дожелта, точь-в-точь как цветок фиалки, засушенный между страницами томика со стихами Тютчева, который папа держал при себе.

Папа подошел к маме, ласково стер пальцами тающий снег с ее бровей и щек. Он склонил голову и коснулся губами ее плеча. Мама поцеловала его в лысину. Он помог ей снять пальто. Она спохватилась, достала из кармана смятый клочок бумаги, протянула ему. Он быстро взглянул:

— Адрес питерский. Будешь отправлять, надпиши конверт печатными буквами.

— Я у наших ворот не хочу бросать, там, подальше, за углом, на Машковой, тоже есть ящик.

— Да, да, конечно...

Дед прожил еще двадцать лет. Он умер в 1957-м, девяносто семи лет от роду. Незадолго до его смерти я оказался по газетным делам в Сибири и заехал повидаться с ним. Мое прищипье было деду не по душе.

— Юрка на что балбес был и то врачом заделался. На рентгене работает. А ты отроком ведь какие книги читал...

Он показал пальцами, что книги были толстые.

— Так ведь эти книги, дед, написал кто-то.

— Кто-то! Не кто-то! Такие книги, может, раз в сто лет сочиняют, а то в тысячу. А *кто-то* вон полный шкаф навалял — для провождения времени.

По молодости я не понимал мудрой правоты деда. Я напомнил ему, что в начале было слово, и подкрепил свои возражения пословицей насчет написанного пером и вырубленного топором.

— То-то и оно. — Дед как-то по-своему переиначил смысл вроде бы понятной пословицы. — На что ему, топору? Топором дом можно поставить, корабль спустить. А перо? Что перо? Перо пишет — бумага терпит. Нынче одно, завтра другое. Неосновательно.

Дед смотрел на меня ясными, похожими на кусочки льда глазами.

Он перевел разговор на недавний партийный съезд, на разоблачение Сталина.

— Ты бы растолковал, что там у них к чему. А то Ольга шумит, скачет с одного на другое, Юрке и вовсе ни до чего дела нет — на машину копит. Вот Гуран, тот бы изложил всё как есть, да где его теперь возьмешь, Гурана.

Несколько лет назад Семен Александрович, возвращаясь поздно вечером домой, схватился на улице с несколькими разгулявшимися уголовниками — были первые месяцы знаменитой послесталинской амнистии, — его убили ударом лома по голове.

Я постарался припомнить побольше подробностей из доклада Хрущева.

Дед слушал, не перебивая. Сказал только:

— Жалко, Рваная Норка не дожил.

Рваная Норка был расстрелян зимой 1937 года, вскоре после нашего с мамой отъезда из Новосибирска.

...На похороны деда я не попал. Хоронили его в те самые дни, когда в Москве собрался Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Мне с несколькими другими сотрудниками газеты поручили писать репортаж о торжественном открытии и выдали билет на стадион. Задание было почетное, к тому же горячая пора, в редакции каждый человек на учете — отпрашиваться неловко. Да и, правду сказать, очень хотелось в Лужники.

АННА АЛЕКСЕЕВНА

Клочок биографии

Я уже писал о подмосковной даче, но что я могу поделаться, если запах согретых солнцем сосен не оставляет меня, и куст шиповника с красным цветком перед самой террасой, и сороки трещат и прыгают на дорожке, ведущей к калитке.

Каждое утро, совсем рано, в любую погоду (таково папино правило) мы с папой ходим на реку купаться. На высоком берегу, еще безлюдном, мы складываем нашу одежду всегда под одним и тем же кустом, по холодной, влажной глинистой тропке, поневоле поджимая пальцы босых ног, осторожно спускаемся к воде, — вода желтая и прозрачная, сквозь нее видно илистое дно; часом-двумя позже начнут появляться купальщики, взобьют ил, замутят воду. Тогда купанье уже совсем другое, чем это раннее, свежесть и запах которого уносишь домой и чувствуешь на коже даже под припекающим плечи солнцем, когда потом сидишь на террасе и пьешь чай. Мы тихо входим в воду и не ныряем сразу, чтобы тотчас привыкнуть к ее утренней прохладе, не окунаемся, бултыхнувшись, у берега, папа не любит этого, — выбирая ноги из ила, мы идем все дальше в глубину, дыхание захватывает, и лишь в тот момент, когда чувствуем, что со следующим шагом уже погрузимся с головой, так же неспешно отталкиваемся от дна и плывем. Папа плывет на боку, — почти незаметно двигая руками и ногами, ровно и бесшумно рассекает воду, я, хоть и стараюсь не нарушать благодати утреннего покоя, шлепаю по воде ладонями. Солнце, поднимаясь, разгоняет редкий туман над рекой, блестит на траве противоположного плоского берега и, когда мы плывем обратно, уже слегка слепит нам гла-

за. (Тут я хотел еще написать про белые с нежно желтой сердцевинкой лилии, лежащие на темной воде, но получалось слишком красиво — и я вычеркнул.) После купанья папа бросает мне полотенце, но сам не вытирается. Лев Толстой, объясняет он, никогда не вытирался после купанья: он полагал, что в капельках воды, которые остаются на коже, имеется полезный организму кислород...

Анна Алексеевна появилась у нас на даче, когда лето уже подобралось к середине. Ее привезла тетя Юля, приятельница моих родителей, похожая на клоуна — рыжие волосы, большой рот, губы покрашены яркой помадой. Тетя Юля, вместе с братом, дядей Митей, и дочерью Люсей снимала дачу по той же улице, что и мы, через несколько домов. «Бонна» — так тетя Юля называла Анну Алексеевну — должна была давать мне уроки русского и немецкого языка, математики, рисования, главное же — следить за мной, пока родители были в городе. Папа все лето работал без отпуска, у мамы отпуск кончился, она даже брала какие-то дни за свой счет, и теперь, уезжая рано утром в Москву, они оставляли меня под надзором Варвары Семеновны (или Степановны? — не помню), крупной, рыхлой женщины, всегда в черной косынке поверх седых, стянутых пучком на затылке волос. Она обитала на одной даче с нами, но комната ее выходила окнами на задний двор. Варвара Семеновна (или Степановна) кормила меня макаронами, тогдашними, толстыми в палец, из серой муки, посыпанными сахарным песком (никогда больше не ел такого), и не называла по имени — только «мальчик». «Мальчик, — говорила она замирающим голосом. — Не ходи, пожалуйста, на улицу: там — мальчишки».

Я не спорил с ней, потому что, в общем-то, был домоседом, но однажды, помню, кто-то из местных ребят сказал мне, пробегая мимо, что в недостроенном заброшенном доме на самом краю поселка, у леса, они своими силами будут показывать цирк, — и я решил посмотреть представление. Зрители расположились на балках по всем четырем сторонам просторного, отовсюду открытого свету сруба, а посередине, на непокрытом еще досками земляном основании пола, кое-где уже

поросшем травой, топтались братья Петька и Васька, тоже с нашей улицы, они изображали клоунов. У них были намазанные чем-то белым лица и свекольно красные носы. «Здравствуй, Бом!» — пронзительно закричал старший, долговязый Петька. «Здравствуй, Бим!» — таким же голосом отозвался маленький складный Васька.

— Почему ты смеешься, Бом?

— Потому что твоя жена в меня влюбилась, — лихо спросился с ответом Васька.

Зрители радостно загоготали.

— Ах, так! — закричал Бим. — Тогда сейчас ты будешь плакать.

Он схватил приготовленную палку, довольно сильно ударил Ваську по голове и громко засмеялся: «Ха-ха-ха». На глазах у Васьки блеснули слезы, но он не вышел из роли, улыбнулся и очень натурально произнес: «А вот и не заплачу».

— Нет, заплачешь! — истошно заорал Петька и снова взмахнул палкой.

— А вот и нет! — увернулся от удара Васька и отскочил в сторону. — У тебя жена такая хорошая!

И он показал руками в воздухе выступающую далеко вперед грудь и обширный зад.

Восторженная публика прямо-таки покачнулась от хохота.

Но в этот момент представление оказалось прервано появлением матери наших клоунов. Она была такая же долговязая и костистая, как Петька. В руке она почему-то держала огромный мужской башмак. «Васька, ты что ж это делаешь, артист сраный!? — закричала она пронзительным Петькиным голосом. — Тебе что сказано было делать?» Не ведая, что должен был делать Васька взамен того, чтобы изображать клоуна, я почувствовал себя неуютно, покинул цирк и направился домой. По другой стороне улицы мать, выкрикивая ругательства, гнала впереди себя Ваську и едва не на каждом шагу лупила его тяжелым башмаком по голове и плечам; он прикрывал голову руками и тихо плакал. Варвара Семеновна (или Степановна), выйдя на шум, стояла на нашей террасе, смотрела на происходящее и, кажется, не замечая, что делает, развя-

зывала и снова завязывала свою стянутую узелком на подбородке черную косынку. Губы ее шептали что-то. «У меня тоже был мальчик, — сказала она мне. — Один мальчик в гимназии ударил его книгой по голове, и он умер». Это сообщение потрясло меня. С тех пор я никогда никого не бил книгой по голове. Когда Васька и его мать скрылись из виду, мы пошли есть макароны с сахарным песком.

Дача, которую снимали тетя Юля и дядя Митя, была старой постройкой, еще начала века, «довоенной», как тогда говорили. Время, которое мне привычнее и понятнее было называть «до революции», взрослые чаще обозначали словами — «до войны»: «До войны хлеб стоил две копейки, а мясо девять»; книги «Золотой библиотеки», которые мне давала читать тетя Юля («Маленький лорд Фаунтлерой», «Сонины проказы», «Примерные девочки») были изданы еще до войны, как и энциклопедия «Брокгауз и Эфрон», стоявшая в комнате у дяди Мити; Варвара Семеновна (или Степановна) говорила: «До войны мальчики и девочки учились раздельно». Папа, который военным врачом ухватил этой самой «войны», то есть первой и тогда единственной мировой, повторял огорченно, что после всех ужасов и жертв, принесенных войной, люди были уверены, что больше воевать уже не придется («не сошло же человечество с ума!»), но вот тучи опять, кажется, гущаются, и, похоже, не миновать.

Дядя Митя жил на втором этаже, в просторной комнате с крытым балконом. Обстановка была не дачная — городская, по большей части старинная. Письменный стол на ножках, обтянутый зеленым сукном, на нем массивный письменный прибор из хрусталя и бронзы — чернильница, пресс-папье, стакан для перьев, у стола — кресло с высокой спинкой, вдоль стены — книжный шкаф с застекленными дверцами, кровать за китайской ширмой — по желтому шелку взлетали в небо белые и черные аисты. «Все это — часть меня самого, — говорил дядя Митя, обводя комнату худой бледной рукой. — И мне не хочется расставаться с этим, прежде чем я расстанусь с самим собой». Дядя Митя болел туберкулезом. У него было

бледное лицо с тонкой голубоватой кожей на висках и такие же голубоватые тонкие пальцы рук. Даже в теплую погоду он не снимал серого халата с темно-зеленым бархатным воротом. В кармане он носил небольшую склянку цвета йода с широким горлышком: кашлял, отвинчивал крышечку, сплевывал в склянку мокроту и завинчивал снова.

Дядя Митя умер вскоре после нашего возвращения с дачи в Москву. Пришла тетя Юля и принялась подробно и шумно рассказывать, как он задохнулся перед смертью, как за несколько часов перед концом потерял сознание и умер в беспомощности. «И не ел ничего, наверно, уже неделю, а тут весь обложился». Исполненная тайны, мистическая смута, в которую повергала мою юную душу мысль о смерти, образ покойника, тяжело и болезненно тревоживший мое воображение, странно и страшно не сопрягались с низменным «обложился» и теми реальными подробностями, которые за этим стояли. Может быть, именно тогда я, не сознавая того, впервые задумался о бессмертии души: мгновенное превращение тела в нечто грязное, распадающееся, которое нужно тотчас убрать, закопать, сжечь, не совпадало с представлением о конечной цели и назначении человека.

У меня до сих пор хранится дядимитина тетрадь, в которую он заносил русские и немецкие стихи, им самим сочиненные, — довоенная тетрадь в черном кожаном переплете, ослепительно белая бумага с тонко намеченными темно-зелеными линейками строк. На первой странице дядя Митя нарисовал черной тушью красивый готический замок с остроконечными башнями, и его русский почерк был похож на готический немецкий — тонкие, остроконечные, устремленные вверх буквы. Я собезьянничал у него большое «Д», имеющее форму узкой треугольной арфы, это не нравилось моей школьной учительнице, — от нас требовали, чтобы мы все писали одинаковыми буквами, согласно прописям, с одинаковым нажимом (был такой предмет — «чистописание»), и писать в школе разрешалось только пером типа «86», вставленным в простейшую палочку-ручку с жестяным наконечником; самопишущие ручки считались тогда редкостью.

Анне Алексеевне было лет шестьдесят. Лицо ее отличалось некоторой странностью. Правильной формы нос, красиво очерченные губы, большие черные глаза, не утратившие блеска, но все будто создавалось без мысли о целом, соединялось наскоро, не подгонялось одно к другому, и даже сияющие глаза искажались стеклышками простеньких очков в металлической оправе. Волосы ее, уже более седые, чем черные, были коротко подстрижены, и это тоже не шло к ней. К тому же ее крупной лепки голова покоилась на маленьком, казавшемся невесомым теле, хотя движения ее при этом были неторопливы, а шаг отличался мужской твердостью.

Чуть ли не четверть века Анна Алексеевна прожила за границей, в Швейцарии, и лишь недавно, по неведомой причине, возвратилась в Россию, то есть в Советский Союз. Жить ей было негде, ее держали у себя какие-то уцелевшие знакомые и знакомые знакомых, — она оплачивала гостеприимство и зарабатывала свой скромный хлеб уроками, которые давала детям в этих знакомых семьях. Анна Алексеевна — за недолгое время ее пребывания у нас я изведаль это на собственном опыте — добросовестно преподавала языки, математику, основы некоторых естественных наук, а также музыку и рукоделие, от последних двух дисциплин я, восстав, был избавлен, впрочем, она успела научить меня вырезать из картона красивые рамки, а затем украшать их, вышивая по картону цветными нитками узоры (искусство с возрастом мною совершенно утраченное). Перед тем, как попасть к нам, Анна Алексеевна натаскивала отстающего в школе по всем предметам сына заместителя народного комиссара; место было удачное и, возможно, сулило ей кое-какие блага, но однажды заместитель народного комиссара, проходя мимо комнаты сына, услышал, как Анна Алексеевна диктует своим размеренным, строгим голосом: «Спутниками Солнца, в порядке удаленности от него, Бог создал следующие планеты: Меркурий...» Вторую по удаленности планету ни сын заместителя народного комиссара, ни сам заместитель уже никогда не узнали: учительница была в ту же минуту изгнана из властительных чертогов (к слову, по нынешним временам более чем скромных).

Тетя Юля тотчас, горячо по своему обыкновению, приняла в ней участие и убедила моих родителей взять ее к нам. Анна Алексеевна помнила тетю Юлю еще девочкой, была даже когда-то знакома с ее и дяди Мити отцом, очень важным господином, чуть ли не действительным тайным советником (до революции, конечно).

Вместе с Анной Алексеевной в нашем доме впервые, при мне во всяком случае, появилась Библия: большого формата очень толстая книга на немецком языке в прочном, кажется, деревянном переплете, обтянутом грубым серым холстом. Книга была напечатана готическим шрифтом, крупным и черным, так плотно, что слова в строке сливались в единый энергичный, бегущий узор. Библия хранилась в серой же холщовой сумке, которую Анна Алексеевна при необходимости носила на ляжке через плечо.

Анна Алексеевна была адвентистка седьмого дня. Каждую субботу, еще до восхода солнца, она брала свою Библию и еще в руку клеенчатую сумку с едой и питьем и отправлялась в лес — молиться в одиночестве и ждать прихода Мессии. В некотором смысле с Анной Алексеевной возвратилось в наш дом и подзабытое уже представление о днях недели: время отмерялось тогда не принятыми неделями, а пятидневками, потом шестидневками, — без отмененных понедельников, суббот и воскресений. Мессия должен был явиться непременно в субботу, и с его приходом наступал конец света. «Если Он придет, я не вернусь больше», — предупреждала она накануне. «Значит ли это, что, если вы не вернетесь, то следовательно Он пришел?» — шутил папа. Но Анна Алексеевна не принимала шутки. Она холодно взглядывала на папу большими, еще и увеличенными стеклышками очков глазами: «У моего невозвращения могут быть иные, не столь существенные и не столь радостные причины». Мама нервничала, закуривала, ломая спичку (всегда ломала, когда нервничала): «Втянет она нас в какую-нибудь историю». Папа ее успокаивал: «Чтобы попасть в историю, право, не требуется Анны Алексеевны».

Анна Алексеевна была учительницей придирчивой и точной. В письменных работах по математике она отмечала

на полях синим карандашом правильно решенные задачки и примеры, красным — ошибки, выводила процент и, соответственно, ставила оценку. Но учился я с интересом, хотя по вечерам ворчал потихоньку, объясняя родителям, что они этими дополнительными занятиями, в которых я не нуждался, испортили мне лето. Анна Алексеевна живо, с занимательными подробностями рассказывала об исторических событиях многовековой давности, о достопримечательностях стран, в которых она побывала и в которых я во времена моего отрочества не мечтал побывать, о великих творениях искусства. Для диктантов она выбирала тексты, отмеченные смыслом, а не только скоплением трудных случаев орфографии и пунктуации, — большей частью из классики.

По-немецки мы читали сказки Гауфа и сентиментальное биографическое повествование «Луиза, королева прусская». В конце книги, к главе о смерти еще молодой королевы была приложена трогательная картинка: припав к ногам кровати, на которой умирает королева, опустились на колени ее дети (не помню уже, сколько их), поодаль стоит со скорбным лицом царственный супруг Фридрих Вильгельм Третий. Картинка встревожила, даже напугала меня — незадолго перед тем я прочитал толстовское «Детство», таящийся в ребенке страх смерти родителей остро ожил в моей душе. Анна Алексеевна заметила и как я помедлил над картинкой, и как быстро, словно отделиваясь, перевернул страницу: «А я вообще не помню свою мать. Она умерла, когда я была совсем маленькая». Но на картинке присутствовал еще скорбный Фридрих Вильгельм: «А отец?» — спросил я. Анна Алексеевна задумалась, будто припоминая: «Мы почти не встречались с ним. Меня воспитывал отчим. Со временем ты поймешь, как это получилось». Я не стал разгадывать странных семейных обстоятельств моей учительницы, но в эту минуту ее неведомая жизнь почудилась мне, без сомнения, более интересной, чем жизнь нежно ею любимой Луизы, королевы прусской.

Мы читали также немецкую Библию, по Книге Руфь и по Книге Товита я даже писал изложения, — эти Книги и поныне остались одним из моих любимейших чтений.

Варвара Семеновна (или Степановна) относилась к Анне Алексеевне без доброжелательства. Она презрительно улыбалась и пожимала плечами, глядя, как «немка» (так она за глаза именовала учительницу) хозяйничает на кухне, приготовляя для себя особую пищу: Анна Алексеевна строго держалась вегетарианского стола. В маленькой, почти кукольной синей кастрюльке она варила какие-то серые клейкие кашицы, в которые подливала ложку-другую желтого подсолнечного масла. Мудрено ли, что всякий раз, когда обстоятельства принуждали меня пробовать яства из синей кастрюльки, я с вожделием и тоской вспоминал посыпанные сахарным песком макароны Варвары Семеновны (или Степановны). Адвентизм «немки» Варваре Семеновне (или Степановне) тоже не пришелся по душе: «Сидит в лесу — молится колесу». Но когда Анна Алексеевна читала мне вслух Библию, она останавливалась у двери и, то развязывая, то снова завязывая на пухлом подбородке черную свою косынку, внимательно слушала. «Не учили меня толком, — говорила она, вздыхая. — Вот мальчик мой окончил бы гимназию, он бы понял». И прикасалась к глазам концом косынки.

Анна Алексеевна стала вместе с нами ходить по утрам купаться, это, признаюсь, меня злило: у нас с папой по дороге на реку и обратно образовался свой ритуал сокровенных разговоров, теперь папа вел дорбогой беседы с Анной Алексеевной, я прибавлял шагу и уходил вперед, полагая и вместе показывая им, что слушать их мне неинтересно. Папа — я замечал, с большим интересом — расспрашивал Анну Алексеевну о ее жизни, то и дело вставляя в речь свое вежливое «Простите мне, если затрудняю вас своим вопросом», на что Анна Алексеевна неизменно отвечала: «Отчего же, сделайте одолжение», — и мне это очень нравилось. Еще больше мне нравилось, что, недослышав или недопоняв, она, переспрашивая, не произносила привычное «А?» или «Что?», а говорила с особенной предупредительной интонацией: «Простите?» Я было перенял у нее это «Простите?», но в моей тогдашней компании оно вызывало смех, да и даже

много позже встречалось собеседниками с недоуменной улыбкой и потому, должно быть, в моем словесном обиходе не привилось.

Обнаружилось, что, путешествуя по Германии, Анна Алексеевна останавливалась на некоторое время в Лейпциге, и именно тогда, когда папа учился в тамошнем университете, они вполне могли ненароком встречаться в баховской Тома-скирхе или на музыкальных концертах в Гевандхаузе, это предположение обоим очень нравилось, они с увлечением перебирали памятные обоим подробности.

На берегу Анна Алексеевна забредала в густой кустарник и долго переодевалась там, чтобы появиться в белой до полу рубаше из плотной материи с высоким воротом и длинным рукавами. Она входила по шее в воду и несколько минут стояла неподвижно, лишь слегка поводя по поверхности воды руками, будто отгоняя ее от себя, потом, с трудом вытаскивая ноги из тинистого дна, выбиралась обратно на берег. Однажды, стрельнув взглядом в кусты (не скажу, чтобы случайно), я увидел в просвете ветвей совершенно обнаженную Анну Алексеевну: она стояла ко мне спиной и старательно вытирала полотенцем у себя между ногами; у нее была узкая, как у девочки, спина, желтоватые комочки ягодиц, — мне стало неприятно, что я это вижу.

После ужина мы подолгу засиживались на террасе, темно уже не поздно. Зажигали керосиновую лампу. На ее густой желтый свет слетались мотыльки, с лету громко стучались маленькими телами о разогретое стекло. Я читал книгу, мама и Анна Алексеевна беседовали в углу на тахте (в теплые ночи мама оставалась спать на этой тахте, на террасе, — у нее болело сердце и в доме ей часто не хватало воздуха). Однажды они говорили о воспитании детей, и Анна Алексеевна рассказала маме, что, когда она, уже будучи в Швейцарии, выходила замуж, свекровь, между прочим, подарила ей на свадьбу пучок розог и к нему две шелковые ленты, голубую и розовую: розги следовало повесить над колыбелькой новорожденного ребенка, перевязанные, в случае если будет мальчик, голубой лентой, если девочка — розовой. Мысль о том, что сечь детей

не следует, не приходила даже в голову, хотя свекор был профессор, читал в университете историю Древнего Рима. Мое знакомство с розгами основывалось только на литературе. В книге «Сонины проказы», которую я время от времени по привычке брал у тети Юли, имелась соблазнительная картинка: проказница Соня в задранном платьице лежит кверху попкой на коленях у воспитательницы, и та подняла над ней несколько зажатых в кулаке прутиков. Картинка щекотала мое воображение. Совсем другие — ужасающие — розги встретил я в «Детстве» Горького: дед исступленно полосует вымоченными в воде прутьями тело Алеши, а после опытный парень Цыган учит его, что надо не сжиматься, а, чтобы не так больно было, «киселем лежать», — я старался побыстрее пролистать эти страницы. «Ну и как? — спросила мама, выслушав историю Анны Алексеевны. — Вы повесили над кроватью розги?»

— Я никогда не заводила детей, — отозвалась Анна Алексеевна.

Приближалась осень. Краски вокруг стали более густыми и определенными, и от этого все смотрелось как-то поновому, вместе праздничней и печальней в своей последней красе — и желтизна в зелени напитавшейся дождями листвы, и ржавчина посыпанной песком дорожки от крыльца до калитки, и лиловые астры на клумбе перед террасой. Все чаще, отправляясь купаться, мы укрывали сброшенную одежду папиным черным плащом-макинтошем с подкладкой в мелкую черно-белую шашечку. Для Анны Алексеевны тетя Юля добыла огромный, изрядно обветшалый черный зонт с ручкой из пожелтевшей кости. По субботам, невзирая на погоду, Анна Алексеевна по-прежнему отправлялась в лес, вечером она возвращалась иной раз промокшая до нитки, но непременно радостно взволнованная, раздумянившаяся, с сияющими за стеклышками очков глазами. «Радуюсь, что конец света снова отложен на неделю, и еще более радуюсь вас видеть», — шутил папа. Анна Алексеевна весело грозила ему пальцем и удалялась переодеться. «Подхватит воспаление легких», — мрачно пророчила мама. «Не подхватит: слишком верует», — отвечал папа и, кажется, всерьез.

Вместо прогулок, особенно в дождливые дни, мы часто заходили к дяде Мите. В доме у них было тепло и сухо, пахло натопленными печами. С Анной Алексеевной у дяди Мити тотчас завязывалась оживленная беседа. Разговор непременно сворачивал на родню Анны Алексеевны, это удивляло меня, хотя не интересовало нисколько.

— Брата вашего мне доводилось видеть, — говорил дядя Митя. — Перед войной, еще студентом, я служил некоторое время в Съезде железных дорог; Сергей Алексеевич был к этому времени уже важным генералом в ведомстве путей сообщения.

— Он умер в Константинополе в девятнадцатом году от тифа. А где вы жили в Петербурге?

— На Невском, за спиной юсуповского особняка. А помещение конторы Съезда — возле Александринки. В двух шагах. Кто-то потом мне рассказал, что на той же лестнице, где и я, только выше, прежде жил Гаршин.

— Там он и в пролет бросился?

— Нет, это в другом доме, ближе к Владимирскому...

Когда речь зашла о Гаршине, внимание мое сделало стойку. Гаршин был любимым писателем папы. Я, кажется, еще и в школу не пошел, он прочитал мне вслух «Attalea princeps» и «Красный цветок»; «Четыре дня» я читал уже сам.

Сумасшествие Гаршина и подробности его гибели волновали мое юное воображение. Но собеседники не задержались на судьбе любимого папой писателя и снова продолжали о том, что занимало их заведомо больше, оставив меня в углу у книжного шкафа перелистывать — это было мне позволено — тома Брокгауза и рассматривать лелеемый дядей Митей альбом с марками.

В альбоме, очень толстом, с плотной бумагой, золотым обрезом и вытесненным золотом на зеленом переплете сфинксом, меня особенно привлекал раздел «Россия». В самом названии таилось нечто смутительное, как говаривали в старину, щекотавшее нервы причастностью к запретному: это было слово не из «до войны», а из «до революции». Под красиво выведенным готическим шрифтом дяди Мити заго-

ловком «Россия» размещались рядами серии с портретами русских царей, и в этом было тоже нечто подпитывавшее уже набранные моими порами у старших, которые меня окружали, страх и осторожность. Я любопытствовал однажды, почему раздел «Россия» не продолжен «Советским Союзом». «Но это же две совершенно разных страны, — с каким-то даже недоумением объяснил дядя Митя, основательно запутывая мои исторические представления. — Я коллекционирую марки только одной из них».

— ...В семьдесят шестом Ваш отец отправился в Сербию умирать под пулями — и что же? — продолжал он разговор с Анной Алексеевной.

— И вернулся, слава Богу, живехонек, к тому же генералом. Женился на княжне Сорокиной, принял видную должность при наместнике на Кавказе и укатил в Тифлис. Я почти не встречалась с ним. Я всем обязана отчиму и сильно горевала, когда он умер. Алексей Александрович был очень добрый человек, хотя доброту в нем не всякий мог разглядеть сквозь его педантизм и хорошие манеры. К тому же он был очень умен.

— Помнится, печать сочувственно отозвалась на его кончину, хотя до того казалось, он безнадежно забыт.

— Да, смерть совпала с поражением в русско-японской войне, которое он не пережил и которое вслух предвидел. В ту пору меня уже не было в России.

— О смерти Толстого Вы узнали тоже за границей?

— Вы не поверите: в Люцерне. Мальчик в отеле протянул мне газету: «Умер ваш великий писатель, мадам». Признаюсь, сначала я как-то даже не очень огорчилась. Мне представлялось, что он — как это поется? — все, что мог, то уже совершил. К тому же я была зла на него.

— Помилуйте, за что же?

— Он ужасно меня обидел. Мы встретились всего однажды, случайно, зимой девятьсот первого года в Ялте, в гостинице. Там жила тогда Мария Львовна, его младшая дочь. Я с ней познакомилась, даже оказалось слегка в родстве, через Колю Оболенского, ее мужа. Сам Лёв Николаевич болел, нахо-

дился в Крыму на излечении и жил в Гаспре, на даче у графини Софьи Владимировны Паниной (с ней я была знакома еще по Петербургу, она несколькими годами старше меня; кажется, она еще жива). Он приехал в Ялту повидаться с дочерью. Меня представили ему, как старую знакомую. Он взял мою руку в свою, мягко пожал ее, посмотрел мне в глаза своими волчьими поставленными глазами (такая волчья постановка глаз у Толстых почти родовая особенность) и решительно объявил: «Не помню». Его принялись уговаривать, он упрямо качал головой: «Не помню, не помню». Я сказала дерзко: «Как же Вы не помните? Вы даже сравнили мои глаза со смородиной, а потом передарили эту смородину другой женщине». Но он твердил свое: «Не помню: ни вас не помню, ни смородину, ни другую женщину»...

— Это всё юродство его, юродство, ему любезное! — почему-то радостно вскрикнул дядя Митя, закашлялся, сплюнул в баночку и снова завинтил крышку.

— Я лишь позже поняла, что он был для меня. Он хорошо сказал однажды, Толстой: только после смерти человека понимаешь, насколько его любил.

— То есть: или — не любил...

— Ну, конечно. Узнаешь подлинную меру любви...

Я сидел в сторонке, у книжного шкафа, том за томом перелистывал энциклопедию Брокгауза и Эфрона, но, даже если беседа взрослых не занимала меня, с отроческим жадным любопытством схватывал и запоминал всё, о чем они говорили. При этом я все время напряженно и чутко прислушивался к тому, что творится внизу, на первом этаже. Я ждал Люсю. На дачу Люся приезжала нечасто, и, едва она появлялась, я тотчас, без малейшего сожаления покидал взрослых с их разговорами и бежал к ней.

С Люсей, дочерью тети Юли, мы были ровесники, но она казалась мне много старше и опытнее меня. Люся училась не в обычной школе, а в балетной, и уже это проводило неодолимый рубеж между нею и остальными моими знакомыми мальчиками и девочками. Когда собирались гости, тетя Юля приказывала: «Люся, станцуй!» Люся охотно убегала пере-

одеться и через минуту появлялась в тонкой просвечивающей блузке без рукавов и широкой, более длинной, чем обычно, юбке. На патефон ставили пластинку... Я видел в жизни немало хороших балерин, но ощутимо, до подробностей, запомнил только нескольких, самых великих, — и Люсю. В конце танца Люся непременно долго и сильно крутилась на месте («Как только голова не закружится!» — восхищенно говорили гости), юбка ее, раскрутившись поднималась все выше, открывая стройные обнаженные ножки, высоко-высоко, до беленьких тесных трусиков, таких крошечных, что мне казалось, они ничего и не прикрывают. Никогда ни у какой девочки я прежде не видел такие ноги, и так не видел, — в школе, если девочка нагибалась неловко, у нее из-под юбки выглядывали плотные, трикотажные голубые, розовые и лиловые штаны до колен, на уроках физкультуры девочки надевали сатиновые рейтузы, схваченные снизу резинками, — да что говорить, это были не те девочки и не те ноги: в них не было сладостного соблазна, который мучил меня, когда я видел Люсю. Пока Люся кружилась, мне казалось, что, доведись мне прикоснуться ладонями к ее ногам, погладить их, я бы умер от нестерпимого мучительного восторга. Но — прелесть кончалась: раскрутившись до невозможности, Люся вдруг резко приседала, юбка вокруг нее вздувалась шаром и оставалась так несколько времени, это был замечательный эффект, зрители разражались аплодисментами. Люся раскланивалась, приседая на одну ногу и выпрямив вперед другую, плавно распахивала обнаженные руки, будто обнимая всех и покорно опускала голову с белокурыми завитыми локончиками на висках.

Когда мы оставались вдвоем, Люся, широко раскрыв глаза, упоенно рассказывала мне фантастические любовные истории, будто бы бесконечно происходившие в ее балетной школе, сообщая подробности, поражавшие меня смелостью и новизной, от которых у меня все замирало внутри. Сама Люся также оказывалась подчас героиней таких историй («Он положил мне руку на грудь и поцеловал прямо в губы... Я почувствовала, что теряю голову...»). Ревность сжигала меня; я

мрачнел, но продолжал жадно ловить каждое ее слово. Особенно донимал меня некий Аркадий, то ли реально существовавший, то ли рожденный буйной Люсиной фантазией, — не ведаю, двадцатилетний красавец, прежде учившийся в балетной школе, а теперь приглашенный сниматься в кино — конечно же, на главные роли. Этот Аркадий был безумно влюблен в Люсю и обещал, если она согласится принадлежать ему, сделать из нее киногероиню. «И ты что?» — спрашивал я всякий раз, замирая от страшных предчувствий. «Понимаешь, я еще не могу решиться до конца, хотя многое уже было, многое было», — отвечала Люся тоном опытной женщины. Я мучил себя, со сладострастной жестокостью воображая (в меру моей тогдашней осведомленности) это «многое», ненавидел Аркадия и придумывал изощренные способы его убийства. «Понимаешь, — вдохновенно объясняла Люся, — я буду, как Франческа Гааль!.. Иди сюда... — она тянула меня за руку и крепко прижимала к себе. — Танцуй танго, — пела мне в самое ухо Люся из фильма Франчески Гааль. — Мне так легко... Тарарата-там... Три шага вперед и на месте... Тата-там... Господи, какой же ты глупый!..» А я чувствовал, как упираются мне в грудь ее крошечные крепкие грудки с твердыми, как орешки, кончиками, чувствовал на щеке и на шее ее теплое дыхание, — сходил с ума и не попадал в такт...

Через два года арестуют тетю Юлю, какие-то родственники увезут Люсю в город Борисов (где-то в Белоруссии); спустя три с половиной десятилетия знакомый переводчик, в детстве учившийся с Люсей в балетной школе, встретил ее в Вене, она продавала в аэропорту газеты, журналы и табачные изделия и не говорила по-русски.

Беседы дяди Мити с Анной Алексеевной часто сворачивали на тему о конце света, «кончине мира», как у них это именовалось.

— Основатель адвентизма Миллер, ежели не ошибаюсь, предсказывал кончину мира в 1847 году, — говорил дядя Митя. — После, большинство со злорадством, но иные и с сожалением, отмечали ошибочность пророчества...

— Поскольку кончина мира связана с пришествием Мессии, никто не вправе назначать дату, — перебила его Анна Алексеевна. — Даже Миллер. Божественное провидение никому не открыто.

— Кончина мира — не обухом по голове. Раз — и нету. Как всякий день творения, по нашим человеческим мерам времени длился тысячелетия, так и низвержение созданного. Первый шаг человечества стал шагом к кончине. Создатель только успел спросить Адама: «Адам, где ты?», но Адам был уже далеко от Него. Наш мир будет помирать долго, И не весь сразу. В разных своих частях и в разное время постепенно подвигаясь к концу. И Мессия, ежели соблаговолит прийти, придет в последний момент, когда все будет кончено, уже судить нас, грешных. Другое дело, что падение, как всякое падение, происходит с ускорением, и сегодня, особенно здесь, мы летим под откос с неизмеримо большей скоростью, чем триста или даже сто лет назад...

Если бы не эти беседы, вряд ли в мои отроческие годы я задумался бы о конце света, но, и задумавшись, я не в силах был вообразить его в каких-то зримых подробностях. Я представлял себе, что вот проснусь однажды, и вокруг не будет ничего (что это за «ничего», я представить себе не мог), ничего, кроме меня, и что мне делать в этом «ничего», я совершенно не знал. Я брал в «ничего» Люсю, там не было никакого Аркадия, и никто не мешал мне обнимать ее и прикасаться к ее твердым, как орешки, грудям. Но что-то должно было происходить дальше, и тут появлялись мои родители: мы разводили огород во дворе той же самой дачи, тоже каким-то образом уцелевшей; возникала также Варвара Семеновна (или Степановна) в своей черной косынке и варила серые макароны с сахарным песком, который закупила еще до кончины мира и хранила в наволочке; я трогал Люсину грудь и целовал Люсю в губы.

— Я потому и поспешила в Россию. Мне почудилось, что здесь — уже на пороге. Швейцария с ее привычным благополучием и банковской скучищей, похоже, переживет апокалипсис. Мессия туда и в день страшного суда не завернет. Там слишком сытно и удобно, чтобы открыть уши и слышать.

— Да, Россия, кажется, оказалась избранным полем. Боюсь, или, впрочем, надеюсь, что уже и — не на пороге. Что Рубикон перейден. Не остановишь. Только взгляните вокруг...

— *L'enfant est la*, — остановила собеседника Анна Алексеевна, и оба посмотрели на меня.

Я вышел и отправился бродить под дождем по улице в сторону станции и обратно, дожидаясь, что придет Люся.

Анна Алексеевна исчезла в самом конце лета, мы уже собирались перебираться обратно в город. Была суббота; несмотря на скверную погоду Анна Алексеевна, по обыкновению, до света ушла в лес. Весь день ветер гнал по небу тяжелые тучи, то и дело срывался ливень и снова прекращался. «Безумие какое-то, — говорила мама. — Простудится, подхватит воспаление легких». Папа в пальто сидел на террасе, читал свой медицинский журнал и посматривал на калитку. Суббота совпала с общим выходным, родители оставались дома. Стемнело, потом сделалось совсем темно, Анна Алексеевна не возвратилась. Около полуночи, оставив на террасе зажженную керосиновую лампу, стали укладываться спать. Мама не раздевалась, то и дело закуривала, ломая спички, стояла у окна и смотрела в темноту. «Завтра придется заявить в милицию», — сказал папа. «Я знала, что вся эта история добром не кончится, — мама снова начала чиркать спичкой. — Но что же все-таки произошло?» Папа взял из ее руки коробок, зажег спичку и поднес ей. «Может быть, и в самом деле конец света», — невесело предположил он.

Рано утром — родители еще не успели уехать на работу — в дверь крепко постучали. На пороге стоял коренастый человек в черном макинтоше и защитного цвета суконной фуражке. «Угрозыск», — представился человек. За его спиной высился тощий, с унылым носом участковый милиционер Иванов, хорошо всем в поселке известный. Человек из угрозыска предъявил бумагу, согласно которой должен был осмотреть и изъять все вещи, принадлежащие Анне Алексеевне. Всех вещей у Анны Алексеевны было небольшой фибровый чемодан и ручной сак из клетчатой ткани, перехваченный

желтыми ремнями. Человек в макинтоше и фуражке бросил в почти пустой чемодан несколько висевших в шкафу платьев и кофточек Анны Алексеевны, собрал со стола немногие ее книги. «Книги заграничные будут? — спросил он. — Эта, к примеру, о чем?» На коричневом переплете в овальной рамке был помещен портрет Луизы, королевы прусской. «Это история прусской королевы Луизы, — спокойно объяснил папа. — Она умерла сто двадцать пять лет назад». Человек в макинтоше, прищурясь, посмотрел на портрет: «Королева, значит?» — бросил книгу в чемодан и защелкнул латунные замки. Варвара Семеновна (или Степановна) стояла на пороге, развязывала и завязывала свою косынку.

«Ну, теперь начнется...» — тоскливо проговорила мама, когда угрозыск, сопровождаемый унылым участковым, который нес чемодан Анны Алексеевны и клетчатый сак с ее зимним пальто, пледом и подушкой, скрылись за дверью. Но ничего не началось. Поздно вечером прибежала тетя Юля: «Ну, вроде бы, милостив Господь, неплохо отделалась. Дали, конечно, сто первый километр и отправили в Суздаль, кажется. Я завтра к Лизе Кораблевой забегу, попрошу выяснить. У нее связи...» Взяла у мамы папиросу, быстро закурила, перепачкала мундштук помадой, затянулась раз-другой и ткнула окурков в пепельницу. «Нет, не могу. Мутит меня от табака... И ведь говорила ей, дуре, чтобы не таскалась в лес. Ну, сами посудите, идет гражданин по лесу и видит: сидит под елкой старуха подозрительного не нашего вида, читает толстенную книгу на иностранном языке. Тут только святой не побежит доносить...»

Минуло два десятилетия. Уже в середине пятидесятых (все забываю, что человечество перескочило из моего века в следующий, и привычно не добавляю впереди «тысяча девятисот...») я встретил как-то на площади Ногина известного репортера Арнольда Ф. Он был приятелем всей тогдашней газетной Москвы, его любили за покладистый, незаносчивый нрав и ласково звали «Ноликом»; сам же он, как бы в противовес бытовавшему тогда выражению «ноль без палочки» и к тому же, очевидно, намекая на свои успехи у женщин, имено-

вал себя «Нолик с палочкой». Нолик был репортер, что называется, от Бога: он чувствовал вкусный материал, как хорошая охотничья собака дичь, и едва не всякую неделю отыскивал что-нибудь необыкновенно завлекательное, за чем его коллеги рады бы и месяц, и год гоняться. Почти не сговариваясь, лишь переглянувшись, мы с Ноликом поднялись по узкой темной лестнице в простецкий ресторанчик «Севан», который помещался на втором этаже старого уголовного дома, над общественной уборной и знаменитым тогда на всю Москву колбасным магазином. Мы взяли бутылку армянского коньяка «Три звездочки», едва ли не лучший из тогдашних напитков. Нолик был ярко-рыжий, тонкокостный и тонкокожий, после первой рюмки его бледное, веснушчатое лицо тотчас покраснело.

— А у меня, знаешь, такой материалаец с пера сорвался, сумасшедший материалаец.

Он сожалеюще цыкнул языком и снова наполнил рюмки.

— Ну, да волка ноги кормят. Глядишь, еще что-нибудь подвернется. Давай, за волчьи ноги.

Лицо Нолика раскраснелось еще больше.

— Да что за материал-то?

— Скажу, но не поверишь. Ты Льва Толстого «Анну Каренину» читал?

— Читал, конечно.

— Роман-то помнишь?

— Помню, вроде бы.

— Ты только не смейся. Я третьего дня дочь Анны Карениной нашел. На Арбате, конечно, в переулке. Жила у подружки своей, такой же старушки — Яшвиль. Тоже, кажется, княжна какая-то. Домишко — совсем уже развалюха. Комнатенка в виде буквы «Г» — ход конем. Так вот она — в этом кривом конце, за печкой. Отсидела свое, конечно. Есть байка, будто сам Усатый приказал освободить. Когда узнал, накатал резолюцию: «Дадим дочери Анны Карениной умереть на свободе». А?

Давно забытое вдруг живо явилось в моей памяти, обожгло озарением...

— Погоди, так это Анна Алексеевна?

Нолик подозрительно взглянул на меня:

— А ты откуда знаешь, что Анна Алексеевна?

— У Толстого же написано...

— Смотри! а ты, оказывается, дока...

Он налил еще.

— Ну, давай тогда, не чокаясь, — вечная ей память.

— Как «вечная память»?

— Да в том и дело. Приказала долго жить. Сейчас, поди, как раз хоронят. Я с ней на сегодня договорился интервью делать. Хорошее могло выйти интервью. Теперь не то что раньше — многое можно написать. Представляешь, заголовок: «Дочь Анны Карениной»? Прихожу, а ее в церковь повезли — отпевать. Я и повернул восвояси. Не поверишь: церковь, покойница, — побаиваюсь как-то.

— Да ведь она адвентистка. Разве их отпевают?

— Ну, это не по моей части. А что адвентистка — тоже у Толстого написано?

— Нет. Лев Николаевич этого не знал (я почувствовал, что произнес «Лёв», но Арнольд, кажется, не заметил этого). Отчего же она умерла?

— Вот то-то и оно. Костью подавилась! Селедку ела — и подавилась. Ты представляешь: дочка Анны Карениной — и подавилась! Селедку ела!.. Какая тема! А хрен напечатают.

Он быстро опрокинул еще рюмку, вдруг громко захохотал и выкрикнул весело: «Он, евши, костью подавился!.. — хороши заголовочки?»

Воспоминания, сопрягаясь в огромное прошлое, толкались в моей голове. Душу захватило от зримо вставших перед внутренним взглядом подробностей, показавшихся такими значимыми и сокровенными. А в ушах чудовищной дразнилкой колотилось: «Он, евши, костью подавился!.. Он, евши, костью подавился!..»

СТРАННИКИ

Тарахтелов, наш сосед по квартире, повесился ночью под 7-е ноября. Он был высокий, костлявый, с длинными руками. Носил всегда военную гимнастерку, как многие тогда носили, хотя военным не был, служил в какой-то конторе. Сам он произносил свою фамилию через «э» — Тарахтэллов — и говорил, что он ассириец. Тетя Таша за глаза именовала его Ашурбанипалом. У него была круглая черная борода на подбородке и на шее, совсем не похожая на прямоугольную до пояса бороду ассирийского царя. Портрет Ашурбанипала я видел в учебнике по истории Древнего мира.

Мы уже давно спали, — нас разбудили громкие удары в дверь и отчаянные крики Риты Матросовой. Рита, как и Тарахтелов, была наша соседка. В квартире было три комнаты: одну, самую просторную, занимала тетя Таша, рядом, за стеной жил Тарахтелов, следом, в небольшой комнате у входной двери помещалась Рита. Я знал, что до революции вся квартира принадлежала отцу тети Таши, потом тетя Таша и тетя Маня, ее сестра, остались в ней вдвоем, их уплотнили, в квартире появились посторонние съемщики, и она превратилась в коммуналку. Про отца тети Таши мама сказала однажды, что он был «духовное лицо». «Поп, что ли?» — спросил я. «Духовное лицо», — повторила мама. Больше мы об этом не разговаривали.

Тетя Таша считала Риту безнравственной женщиной. Рита ее боялась. К Рите иногда приходили мужчины и оставались ночевать. Она выбегала в кухню ставить чайник, ее толстые щеки пылали. Мы с Женькой делали вид, что идем в уборную, на самом же деле по очереди подкрадывались к Ри-

тиной двери и подслушивали. Двери в квартире были старинные, тяжелые, почти ничего не слышно, — иногда звякала посуда, мужской голос басил что-то, всего явственней был высокий, залиvistый Ритин смех, но нашему воспаленному воображению и того было довольно. Одно время у Риты был роман с инженером Седовым, который со своей семьей занимал всю квартиру под нашей, на первом этаже. Я дружил с дочкой инженера, Татой, у нее были коротко подстриженные светлые, почти бесцветные волосы, в школе и во дворе ее называли «Седая». Потом инженер исчез, Тата с матерью быстро и незаметно съехали, а в квартиру вселились сразу две семьи.

Последнее время Рита по ночам пробиралась к Тарахтелову, что, конечно, не было для нас с Женькой секретом. Женька врал, что однажды ночью, выйдя по нужде, видел, как Рита с Тарахтеловым мылись вдвоем в ванной, позабыв затворить дверь, и сообщал такие подробности, которые вызывали у меня смех и вместе сводили с ума. Женька был четырьмя годами старше меня — ему уже исполнилось шестнадцать — и несравненно более наслышан и начитан по вопросу отношения полов.

В округе Риту называли «Вестингаузом». В ту пору на площадках железнодорожных вагонов означался надписью тип тормозного устройства: «тормоз Матросова» или «тормоз Вестингауза»; когда Рита Матросова с могучей грудью и тесно обтянутым юбкой подвижным задом бодро шагала по перелуку, ребята кричали: «Вестингауз, тормози!». Рита звонко смеялась, щеки ее пылали.

Тетя Таша поднялась. Накинула халат, зажгла свет и пошла отворять. Она всегда держала дверь запертой на ключ. Рита стояла на пороге в длинной белой ночной рубашке, облежавшей ее большое тело. Сквозь тонкую ткань просвечивали соски огромных грудей, темный треугольник лобка. При виде тети Таши, которая стояла перед ней строгая, прямая, руки в карманах халата, Рита перестала кричать, выговорила, будто

подбирая слова: «Там... висит...» Я слышал, как стучат ее зубы. «Подите, пожалуйста, оденьтесь, здесь — мальчики, — сказала тетя Таша. — Я позвоню в милицию».

Минут через сорок прибыли трое: главный, с неприметным лицом, в шинели без петлиц, туго перетянутый портупеей и в военной фуражке с синим околышем, доктор в неопрятном белом халате поверх пальто и наш дворник дядя Костя, крепкого сложения рябой татарин, которого на самом деле звали Абдул.

Дядя Костя с худенькой, тихой женой Фатимой и шестью детьми жил в полуподвальной комнате рядом с красным уголком, где на стене, на обтянутой кумачом доске висели портреты вождей. В красном уголке, посередине, стоял небольшой с малиновым сукном бильярд — играли на нем металлическими шарами-подшипниками, у стены — стол с газетами и журналами и в углу — отдельный шахматный столик. Шахматные фигуры были красного и белого цвета, они изображали пехотинцев, кавалеристов, вместо ладей были танки, уже не помню подробно, что там еще было. Неожиданность игры состояла именно в цвете: для нас, тогдашних, красные были главнее белых, им предоставлялся первый ход, открывалась возможность выбора дебюта и инициатива, за них болели, — то есть белые оказывались как бы черными, и не только колористически, но нравственно, что ли. Красным уголком заведовал на общественных началах инвалид гражданской войны Зиссерман, толстый, малоподвижный старик (каковым он нам казался) с пересекавшим пустую глазницу глубоким шрамом на оплывшем лице; прозвище его было «Кутузов». По вечерам Зиссерман с дядей Костей допоздна сидели за шахматами. Зиссерман, побеждая, говорил про дворника: «Тактически мыслит, но — не стратег».

Полуподвальное окно дворницкой никогда не бывало завешано, и мы, играя во дворе, любили заглядывать в помещение, где, кроме стола и нескольких кроватей, на которых дети спали по двое, ничего и не было. Когда у дяди Кости умер

младший мальчик Мансур, мы целый день, раззадоривая один другого, подбегали к окну и с ужасом, от которого всё внутри скручивалось, как белье, которое выжимала, доставая из окутанной паром лохани, Фатима, взглядывали на лежащее посреди стола завернутое в простыню тельце.

Иногда Фатима пекла одуряюще вкусно пахнувшие круглые мясные пирожки, беляши, и выносила доверху наполненную ими миску в красный уголок, чтобы угостить тех, кто там находился. Беляшами соблазнялись немногие, поскольку готовились они из конины. Мы с завистью, глотая слюни, смотрели, как жадно поедают лакомство дядикостины дети, но сами попробовать не решались. Только старый Зиссерман брал из миски беляш, и другой, и третий: во время гражданской войны ему, по его словам, частенько приходилось есть лошадиное мясо; однажды они с товарищами после боя даже добились и съели раненого коня белогвардейского генерала.

У дяди Кости были две девочки-близняшки, мои ровесницы Роза и Галя. Розка с отчаянно блестящими глазами и пунцовыми круглыми губами, дразня мальчишек, непристойно щелкала пальцем одной руки по сложенному кружком пальцам другой, кричала визгливо: «Хочешь беляша!» Галя, хоть и близняшка, нисколько на нее не похожая, с вытянутым белым лицом, урезонивала ее басом: «Заткнись, дура!»

Хотя тетя Таша велела нам наружу носа не высовывать, мы с Женькой, конечно, оделись, выскользнули в коридор и оказались у отворенной настежь тарахтеловской двери. Прибывшие по вызову были уже в комнате. Рита и тетя Таша стояли на пороге. Рита натянула праздничное цветастое платье, приготовленное на завтра, чтобы идти на демонстрацию, длинная белая ночная рубаха вылезала у нее из-под подола.

Тарахтелов повесился на большом железном крюке, ввернутом в самой середине потолка. Тетя Таша говорила, что когда-то на этом крюке держалась люстра, не то в свое время конфискованная, не то позже проданная. Вместо люстры у Тарахтелова была лампочка под самодельным бумажным абажуром, прилаженная к стене над диваном. Тарахтелов вытаскивал на середину комнаты старенький письменный стол, ко-

торый стоял обычно в углу и служил хозяину чаще обеденным, чем письменным, поставил на него стул — дом был старый и потолки очень высокие, — а когда затянул петлю, отбросил стул. Стул лежал теперь кверху ножками довольно далеко от стола.

Невысокий полный доктор в белом халате поверх пальто поставил стул обратно на стол и, опираясь на плечо дяди Кости, взобрался наверх. «Темно. Ни хрена не видно». Человек в шинели подошел к лампе, сорвал с нее абажур. Комнату, до этого затемненную, сразу наполнил ровный тусклый свет. Я не помню, чтобы у Тарахтелова вывалился язык, как обычно рассказывают про удавленников, помню только, что меня поразила странно изогнутая набок, будто переломленная шея и непомерно длинные руки и ноги, казавшиеся очень большими и тяжелыми. Он был одет в обычную гимнастерку и высокие желтые ботинки со шнуровкой на крючках. «Всё ясно», — сказал доктор и стал осторожно спускаться в распахнутые ему навстречу объятия дворника.

Главный в шинели, задрал голову, неспешно обошел стол, точно любуясь висевшим Тарахтеловым, произнес почему-то: «Вот паразит!» — снял фуражку, пригладил ладонью редкие белесые волосы и снова надел фуражку. «Ладно, снимай!» — приказал он дяде Косте и повернулся к доктору: «Вызывайте перевозку. Да пусть побыстрее пришлют. Не до утра же тут воститься. Телефон где?» Тетя Таша повела доктора к телефону.

Дядя Костя ловко влез на стол. Военный вытащил из кармана большой складной нож с деревянной ручкой, открыл, протянул ему. Дядя Костя провел ножом по туго натянутой над головой Тарахтелова веревке. Тарахтелов медленно (мне показалось), как снежная баба в теплую погоду, стал оседать, ноги будто укоротились, руки бессильно упали на плечи дяде Косте. «Эй, помогай давай!» — дядя Костя, касаясь щекой лежавшей у него на плече головы Тарахтелова, кивнул Женьке. Женька поджал губы, побледнел и шагнул от порога к столу. Потом Женька хвастался, что ничуть не боялся, хотя покойник был ужасно тяжелый и холодный; но это он врал, что не боялся, я-то видел, что он едва соображал, чего от него хотят.

Виесте с дядей Костей они перенесли Тарахтелова на диван; Женька держал под мышками, а дворник за ноги. «Ладно, — сказал главный, снова снял фуражку и пригладил волосы. — А вы одевайтесь, с нами поедете». — сказал он Рите. «Чего мне ехать, — дерзко завопила Рита, мощной грудью надвигаясь на военного. — Убила я его, что ли?» «Ладно, без глупостей, — сказал человек в шинели, легонько от нее отмахиваясь. — Документы захвати»...

Тетя Таша, тихо и ровно дыша, лежала на своей кровати, и я, притворившись, будто думаю, что она спит, бесшумно перебежал босиком со своей коротенькой тахты на диван к Женьке. Обычно тетя Таша не позволяла нам спать вместе, считая это бесполезным с точки зрения гигиены и нравственного развития, как она объясняла, но в ту ночь она тоже притворилась, что не замечает этого. Мне было страшно. Мне виделась переломленная, как у птицы, шея Тарахтелова и его висящие ноги в желтых со шнуровкой ботинках до колен. Женька почти беззвучно шептал мне в самое ухо, какой тяжелый и холодный был Тарахтелов, даже сквозь суконную гимнастерку чувствовался холод тела, и руки уже начали коленеть.

«Смерть не красит, — вдруг сказала в темноте тетя Таша своим негромким ровным голосом. — К этому жутко привыкнуть, но к этому привыкаешь. Человек жил, любил, страдал и вдруг превращается в «тело», мертвую оболочку, из которой ушла душа, жизнь; этой оболочке нет уже места среди живых людей, они спешат убрать ее прочь, упрятать навсегда, чтобы не получилось нечто вовсе ужасное. Вот и задумаешься: неужели самое совершенное творение, человек, является на свет, чтобы в конце концов превратиться в «тело», в нечто, в ничто. Страшен не мертвый Тарахтелов, страшно представить себе, что он передумал, перечувствовал, чтобы по собственной воле совершить это. И страшно предположить, что это — всё».

Я спросил: «Тетя Таша, вы верите в тот свет?»

Один замечательный писатель назвал тот свет Великим Быть Может, — ответила тетя Таша.

Утром — в то утро, 7-го ноября, раньше обычного, чтобы не опоздать на демонстрацию, — тетя Таша стояла в кухне у плиты и помешивала в кастрюле овсянку. Мы с Женькой ненавидели овсянку, но тетя Таша была неколебима: всякий день начинался для нас тарелкой овсяной каши. «Лёв Николаевич Толстой, — отвергала она наши протесты (тетя Таша произносила имя через «ё», *Лёв*, как произносили люди, Толстому близкие), — Лёв Николаевич Толстой говаривал: «У овсянки только один недостаток — всегда хочется еще».

Пройдут года, среди иного прочего я соглашусь с Толстым и в этом.

Я прожил у тети Таши больше семи месяцев, но именно такая, как в то праздничное ноябрьское утро осталась она навсегда в моей памяти: глубоко задумавшаяся, словно отгородилась своими мыслями от всех, коротко подстриженные с сильной проседью волосы, узкие прямые плечи, длинный, до полу, коричневый байковый халат, — она стоит у плиты и неторопливо помешивает ложкой в кастрюле. Я не ведал в то утро, да и тете Таше не приходило в голову, что жить нам вместе осталось всего каких-нибудь двенадцать дней: через две шестидневки (счет времени в ту пору велся не неделями, а шестидневками) мы расстанемся, чтобы никогда не увидеться больше; еще несколько шестидневок спустя, перед первыми выборами в Верховный Совет СССР, тетя Таша отправится на службу (она служила в какой-то экспедиции главпочтамта) и больше домой не вернется. К вечеру на двери ее комнаты появятся две соединенные лохматой бечевкой сургучных печати, — такие печати уже темнели в праздничное утро 7-го ноября, о котором идет речь, на двери Тарахтелова.

Только двадцать лет спустя подойду я снова к доживающему свой век двухэтажному дому, укрышшемуся в переулке за широкой спиной нового здания, поставленного на Тверской, тогда, впрочем, именовавшейся еще улицей Горького, поднимусь на второй этаж к знакомой двери, обитой, правда, теперь черным дерматином, чего прежде не было, увижу, чего тоже прежде не было, красную стеклянную пластинку с надписью «Квартира социалистического быта», а под звонком

список жильцов, где первой — «Матросова М.И. — ответственная съемщица», — и не позвоню. Мне вдруг страшно станет возвращаться в прошлое. Потом однажды я всё же наберусь решимости, но окажется, что от дома и следа не осталось.

Тетя Таша была еще в кухне, когда возвратилась Рита. Она была сильно выпивши. «Праздник! — сказала Рита. Она стояла посреди кухни в расстегнутом пальто, цветастое нарядное платье обтягивало ее грудь и живот. — На улицах народ, флаги, музыка играет, песни под баян. Торгуют со столов в разлив и бутерброды с красной икрой. И чего было вешаться, чего не хватало? Только хлопоты и себе, и людям». Тетя Таша не обернулась, слышно было, как ложка постукивает, как пыхает в кастрюле каша. «А вы бы, Наталья Дмитриевна, с ребятами разобрались, — помолчав, снова заговорила Рита. — Только и спрашивали, кто такие, и откуда, и почему. Я вообще-то подписку дала, о неразглашении, но всё равно ребят жалко...»

«Спасибо, Рита», — не оборачиваясь, сказала тетя Таша, подняла за длинную ручку кастрюлю и направилась в комнату.

На улице, и правда, было весело. По всей улице Горького толпились демонстранты, ожидая сигнала, чтобы построиться в колонны и двинуться в сторону Красной площади, где пока проходил военный парад. Тут и там, совсем близко и где-то в отдалении, духовые оркестры исполняли бодрые песни и марши, звуки труб наплывали один на другой, мешаясь в общий радостный гул. Над головами людей краснели флаги и транспаранты.

На углу нашего переулочка стоял, ожидая своего часа, укрепленный на велосипедных колесах громадный плакат, который демонстранты в движении провезут мимо мавзолея: тощий низкорослый человек (даже на праздничном плакате гляделся мальчиком-подростком) в туго перетянутой портупеей военной шинели с большими маршалскими звездами в петлицах, и в военной фуражке сжал огромный кулак, на который была надета богатырская рукавица со стальными ши-

пами; в кулаке корчились схваченные за горло отвратительные уроды со змеиными хвостами. Сверху на плакате было написано: «Стальные ежовы рукавицы», а внизу: «Раздавим гадину!» (В школе на уроках истории мы заклеивали в учебниках портреты и, раздирая страницы, вычеркивали из текста имена, на уроках литературы учили наизусть длинные стихи про стального наркома, верного друга Сталина: «Разгромлена вся скорпионья порода Руками Ежова — руками народа».) Под плакатом пожилой дядька, с привязанным к верхней пуговице пальто красным воздушным шариком на длинной нитке, снова и снова шпарил на баяне один и тот же лихой мотив, а в возникшем рядом кружке зрителей, пылая щеками и цветастым платьем, отплясывала Ритка Весингауз.

Уличная веселая суета захватила меня, я начал забывать заросшую черной бородой шею Тарахтелова и его желтые ботинки, мое настроение вновь наполнилось тем радостным самодовольством, каким наполнилось накануне, пока его не спугнуло страшное происшествие минувшей ночи.

Здесь я расскажу про девочку из нашего класса Наташу Стражевскую. Это была образцовая девочка: русая коса, светло-серые большие глаза, «отлично» по всем предметам. Наташа была из именитой ученой семьи, у нее не только отец и дедушка, но даже прадед, все были профессора и академики. Она и одевалась не так, как другие девочки: юбка из красной и зеленой клетчатой шотландки, белые блузки с тонкой красивой вышивкой на груди, курточки на ремешках и пальто с пелеринками, какие нашим девочкам и не снились. Вообще в ее обиходе было множество предметов, вызывавших зависть одноклассников: заграничные карандаши необыкновенных цветов с золотой надписью сбоку на корпусе («кохинор», кажется, они назывались), точилка для карандашей в виде карманных часов, пенал из тисненой кожи. Наташа ни с кем отдельно не дружила, но была со всеми одинаково дружелюбна, никогда ни с кем не ссорилась — и потому казалась выскомерной.

В Наташу я влюбился с первого взгляда, как только мы с Женькой стали жить у тети Таши и перевелись в эту школу. Я еще не успел понять, что она равна со всеми и полагал, что она холодна со мной, и потому всячески старался предьявить ей себя в самом привлекательном виде. Однажды на перемене стояла группа девочек, и Наташа в их числе, щебетала в коридоре у окна; я вертелся тут же и вмешивался в разговор, чтобы обратить на себя внимание. Наташа вдруг сказала: «Когда я кончу школу. Я стану поэтессой». И тут красивое, изысканное слово «поэтесса» вызвало в моей памяти другое, такое же красивое, изысканное слово, которое, я полагал, точь-в-точь годилось под пару «поэтессе». «Нет, — сказал я Наташе, всей душой желая передать восхищение ею, — ты будешь не поэтесса, ты будешь *куртизанка*». Кто-то из девочек фыркнул. Наташа побледнела, внимательно посмотрела мне в лицо своими большими светло-серыми глазами, резко повернулась и направилась в класс, где во время перемены никому, кроме дежурных, находиться не разрешалось.

После уроков классная руководительница Капитолина Павловна (русский язык и литература) велела мне задержаться в классе. Ученики Капитолину Павловну не любили. В школе ей дали прозвище «Трамбовка». Это была грузная старуха (нам тогдашним казалось), с маленькими глубоко упрятанными глазками на круглом лице, придирчивая и подозрительная. Она одевалась в просторные темные платья с белым кружевным воротничком. Рыжая, остроносая Люся Коптякова, моя соседка по парте, которая всё про всех знала, говорила, что Трамбовка *из бывших*, отец у нее, может быть, даже вообще помещик или фабрикант.. В Наташе Стражевской Трамбовка души не чаяла. По словам той же Люси Коптяковой, она лечилась у Наташиного дедушки, знаменитого врача.

Я стоял перед Капиталиной Павловной и боялся. Обращаясь к нам, Капитолина Павловна говорила: «Кому как не тебе должно быть понятно...» — и от такого обращения в душе возникало чувство какой-то особой, сокровенной, вины. Приблизив ко мне лицо, так, что я чувствовал на щеках ее тяжелое дыхание, Капитолина Павловна требовала от меня ответа: как

я посмел оскорбить ужасным словом советскую девочку, пионерку, лучшую ученицу. «Кому как не тебе должно быть понятно...» Нелепость положения состояла в том, что именно мне *понятно* не было. В слове *куртизанка* я не предполагал ничего оскорбительного. Куртизанка представлялась меня не похожей на других, особенной прекрасной женщиной, вызывающей всеобщий интерес и всеобщее поклонение. Капитолина Павловна и Наташа знали, оказалось из разговора, лишь иное, вульгарное и мне как раз неведомое значение слова. Мы прозревали одновременно: я начал понимать, что имела в виду классная наставница, тогда, как она, сдаётся, понемногу уверовала всё же, что *этого*-то я в виду не имел. Тяжело дыша, Капитолина Павловна придирчиво выпрашивала меня, откуда мне известно злополучное слово. Я, честное пионерское, не помнил: может быть, слышал от кого-нибудь или, может быть, прочитал. В моем дневнике, в примечаниях за шестидневку Капитолина Павловна вписала каллиграфическим почерком: «Поддается дурному влиянию товарищей. Прошу следить за читаемыми книгами» — и вывела «неуд.» по поведению. «Пусть подпишут... — она хотела сказать «родители», но запнулась и dokonчила: — ...те, с кем ты живешь».

Тетя Таша скрепила примечание подписью.

«В одной умной книге, — сказала она при этом, — я как-то прочитала: *Мука — молчать, но еще большая мука — говорить и быть ложно понятым*. Старайся говорить с теми, кто в силах тебя понять. А лучше всего — помалкивай».

Не знаю, много ли стихов написала Наташа Стражевская, что решила стать поэтессой, — нам, одноклассникам, известно было лишь одно. Едва не всякое классное собрание или пионерский сбор завершались у нас тем, что Трамбовка объявляла с торжествующей (нам казалось — с заискивающей) улыбкой: «А теперь Наташа Стражевская прочитает нам собственное стихотворение». Наташа в тонко вышитой белой блузке при шелковом алом галстуке выходила к учительскому столу, закидывала косу за плечо, красиво поднимала голову и объявляла: «Георгин». После этого следовали

читаемые всегда с одним и тем же выражением восемь строчек, завершающиеся стихом: «Что за чудесный цветок георгин!» Мы дружно аплодировали. Никто другой в классе стихов не сочинял.

У нас дома владычествовал Маяковский. В ту пору Маяковский был уже объявлен *лучшим и талантливейшим*. Комсомольцы собирались в бригады — не помню, как они назывались, — читали вслух стихи поэта, устраивали вечера на предприятиях и в вузах. Женька тоже вступил в такую бригаду; свою речь он то и дело перемежал цитатами из томика в сером переплете, страницы которого были густо исчерканы красным карандашом и переложены множеством закладок. Галя Гарьковая заметила однажды, что он похож на Маяковского (по-моему, вовсе не похож: у него был толстенький нос и щеки пухлые), и Женька, читая стихи, то и дело встряхивал бережно лелеемым, спадающим на лоб хохолком, таким, как на профиле поэта, тисненным на переплете книги.

За неделю до праздника Трамбовка задала нам домашнее сочинение на тему: «Привет Двадцатой Годовщине Великого Октября» (все с прописных). Признаюсь, я не сильно мучился над текстом. На столе передо мной лежала получаемая тетей Ташей многотиражная газета «Сталинский связист». Передовая в ней была озаглавлена слово в слово как заданное нам сочинение. Перемахивая ее в тетрадь, я только обходил фразы, определявшие очередные задачи советских связистов. Я бойко чертил прямо набело про беспосадочные перелеты Чкалова и Громова через Северный полюс в Америку, про славных полярников-папанинцев, про открытие канала Москва-Волга и про смертный приговор врагам народа.

Здесь я вспомнил Женькину мать, тетю Клаву, жену умершего маминого брата. Тетя Клава жила в Н. Она работала в швейной артели — изготовляла круглые наволочки на диванные подушки. Наволочки шились вручную из располагаемых кругами, один в другом, разноцветных лент; в центре пришивалась целлулоидовая или матерчатая кукольная головка. Одну такую подушку, называемую «Арлекин», из оран-

жевых и черных лент, с головкой клоуна в колпаке посредине, тетя Клава подарила нам, — мне она очень нравилась. Никто у нас дома — ни мама, ни папа — не верил, что тихая тетя Клава шпион, диверсант, наймит фашистской разведки. Когда ее арестовали, мама быстро направилась в Н. и привезла к нам Женьку, которого уже было уехали в детдом.

Поразмыслив, я густо зачеркнул весь абзац про врагов народа. Из-за этого надо было переписывать уже почти готовое сочинение в чистую тетрадь. Мне сделалось нестерпимо скучно. Я даже нарисовал что-то на покрывавшей стол клеенке, за что мне непременно доставалось от тети Таши, всякий раз заставлявшей меня оттирать намыленной щеткой мои художественные пробы (но тот, кто еще помнит, какое блаженство рисовать обмакнутым в фиолетовые чернила пером №86 на гладкой поверхности столовой клеенки, тот поймет, как трудно отказать себе в этом удовольствии), — я тянул время, так мне не хотелось еще раз выводить на бумаге готовые фразы газетной статьи.

Уже не помню, как явилась мне в голову дерзкая мысль попробовать свои силы в стихосложении. Я не задумывался в ту пору над основами психологии творчества и не запечатлел в памяти исторический момент рождения первых моих стихотворных строк. Между тем с того дня версификаторство на долгие годы завладеет мною. По счастью, природа обделит меня энергией заблуждения, а любовь к литературе вовремя подскажет разницу между сочинением стихов и поэзией, — мои стихи никогда не выберутся из-под обложек домашних тетрадей (разве только шутовское что-нибудь, ко дню рождения кого из друзей). Пройдут не годы — десятилетия, пока однажды, пробудившись, я не пойму вдруг с какой-то холодной ясностью, что никогда больше не стану придумывать (а если придумаю, не запишу) ни одной стихотворной строки. Словно струп отпал от зажившей раны, и под ним новая чистая кожа. Так же я бросил курить (а курил много и жадно): проснулся утром, потянулся за первой, любимой, еще не вылезая из-под одеяла, натошак, сигаретой, почувствовал — нет охоты, и ни разу больше не поманило.

Через несколько дней Трамбовка, не раздавая тетрадей, зачитала отметки за сочинения. Мне она поставила «хорошо», что, не скрою, меня уязвило: я твердо рассчитывал, что на этот раз вырву у нее «отлично».

Накануне праздника в классе проходил торжественный пионерский сбор. На сбор неожиданно пожаловала директор школы Вера Леонидовна, которую все — ученики и даже, кажется, учителя — называли «Комиссар». Вера Леонидовна участвовала в Гражданской войне, имела орден Красного Знамени. Ее представляли: «учительница-орденоносец» — нещедро раздаваемые ордена были тогда еще приметой. Маленькая, легкая на ногу, с пучком редких волос, она носила пиджак мужского покроя и рубаху с галстуком. Голос у нее был прокуренный, от нее несло табаком; другое прозвище ее было — «Табакерка». Люся Коптякова говорила, что Комиссар нашу классную руководительницу терпеть не может, и, попадись ей Трамбовка во время Гражданской войны, она, не раздумывая, отправила бы ее в расход. Вера Леонидовна скомандовала своим хриплым голосом: «Садись!» (мы встали при ее появлении), легким шагом прошла по классу и устроилась за последней партой.

Сбор был как сбор. Отчетный доклад. Выполнение соц-обязательств. Поэтический монтаж из стихотворений о Великом Октябре. Под конец Капитолина Павловна объявила с умильной улыбкой: «А теперь Наташа Стражевская прочитает собственное стихотворение». Я, признаюсь, напрягся — вместе с первыми рожденными строчками в моей душе затлела профессиональная ревность. Наташа вышла к доске, перекинула косу через плечо... Это оказался всё тот же «Георгин». Все похлопали. И тут — я очень боялся Капитолины Павловны, но я всё-таки поднял руку, встал и спросил: «А можно я тоже — свое собственное?» И чтобы не отказали, прибавил: «К празднику». Все с интересом на меня уставились. «Ну, прочитай», — без охоты согласилась Капитолина Павловна и недовольно опустила лицо. Всё с той же испуганной торопливостью я прокричал, не сходя с места: «Привет тебе, Октябрь Двадцатый!..»

«Молодец! — крикнула Комиссар, едва я кончил читать. И, продолжая хлопать, быстрым шагом вышла к учительскому столу: — Что же вы, Капитолина Павловна, от нас таланты прячете?»

В тот день я читал еще дважды: на комсомольском собрании старшеклассников и на районном партактиве, куда меня захватила с собой Вера Леонидовна. Я пришел домой упоенный успехом. Женька рассказывал тете Таше, как здорово я читал — громко, с выражением. «Галя Гарьковая уже записала тебя в нашу бригаду Маяковского». Это была огромная честь — в бригаду брали только комсомольцев.

А ночью повесился Тарахтелов.

Я пробирался в праздничной толпе. Парад на Красной площади заканчивался. В громадных четырехугольных рупорах громкоговорителей стихали военные марши. Демонстранты поспешно выстраивались в колонны, отгоняя зрителей на тесно забитый людьми тротуар. Шесты с портретами вождей, флаги и транспаранты закачались над головами демонстрантов. Нарком в ежовых рукавицах покатился на велосипедных колесах в сторону Страстной площади, недавно переименованной в Пушкинскую. Его толкал за рукоятки пожилой дядька с тяжелым футляром баяна на ремне за спиной и привязанным к верхней пуговице пальто красным шариком. Ладный хор из четырехугольного раструба громкоговорителя вопрошал с радостным изумлением: «Как же так — резеда? И — героем труда? Почему, — объясните вы мне?» И высокий звучный голос певца отвечал убежденно: «Потому что у нас каждый молод сейчас в нашей юной прекрасной стране».

У меня лежал в кармане рубль, выданный тетей Ташей. На эти деньги я хотел полакомиться только что изобретенным тогда эскимо — облитой шоколадом колбаской мороженого на шероховатой деревянной палочке, и стаканом новейшего вишневого ситро «Шпанка». Я предполагал, что в итоге у меня останется копеек двадцать. Я решил после каникул ку-

пить у Белорусского вокзала большой красной георгиевской и подарить Наташе Стражевской. Хотя Люська Коптякова, конечно, узнает об этом и растреплет всему классу.

Женька появился к вечеру: весь день гонял по городу со своей бригадой Маяковского. Он рассказал, что Галю Гарькову забрали в детдом. «Ее ведь бабушке оставили?» — слегка побледнев, спросила тетя Таша. «Сперва оставили, а теперь забрали». Галя была дочь известного партработника. Родителей арестовали еще летом, после расстрела Тухачевского. «А что детский дом! — наступал Женька. — Вон Витька Абезгауз написал одному парню, что хорошо живет, — у них там авиа-модельный кружок, футбольная команда», Женька хорохорился, но я видел, что он боится. Тетя Таша молча пила чай с мирабелевым вареньем. Золотистые шарики плавали в прозрачном сиропе. «Отправлю-ка я вас в Маргелан», — сказала тетя Таша, выскребая ложечкой последние капли из розетки.

Пока тетя Таша мыла в кухне посуду, Женька достал с полки том старинного справочника — черный корешок с золотыми буквами. «Маргелан — город туркестанского генерал-губернаторства в южной части Ферганской долины, среди степной пустынной местности, в виду снежных вершин Алтайского хребта, на высоте около 2 тысяч футов над уровнем моря». Новая неведомая жизнь, возможно, прекрасная, открывалась перед нами. «Фут — это сколько?» — спросил я. «Тридцать с половиной сантиметров», — ответила тетя Таша, входя в комнату с вымытой чашкой. «Здорово!»

Наталья и Мария Дмитриевны Р-ские, по-домашнему — тетя Таша и тетя Маня, были связаны с моими родителями какими-то особыми, сокровенно близкими отношениями. Кажется, во время Первой мировой войны тетя Таша работала вместе с мамой в санитарном поезде. Потом что-то там произошло в «смутное время», как определяла мама эпоху революции и гражданской войны — ни те, ни другие никогда не считали нужным рассказывать о былом. Когда маме исполнится уже девяносто, я попытаюсь вызвать ее на откровен-

ность. Но мама, глядя мимо меня незрячими (а когда-то ослепительно зелеными) глазами, вымолвит только: «Бывает везение, когда спасешь людям жизнь». Каким образом мои родители, скромные служащие, в исторических событиях никакой роли не игравшие, спасли жизнь тетье Таше и тете Мане, так и осталось для меня тайной. Мама вообще не отличалась речистостью. Так на вопрос о состоянии здоровья она неизменно отвечала: «Согласно паспортным данным». Когда весной 1937-го мама и папа совершенно неожиданно для меня, впрочем, кажется, и для самих себя, отправились по контракту что-то строить на Дальнем Севере, они оставили нас с Женькой у тети Таши, хотя в Н. у мамы проживал старший брат Захар, видный инженер, который, наезжая к нам, непременно упоминал в разговорах, что под его руководством строились здания Н-ского горкома партии и горисполкома.

В конце шестидневки за нами приехала из Маргелана тетя Маня с мужем, дядей Максудом, узбеком. В отличие от сестры, тетя Маня была полная и шумная. Волосы у нее были ярко выкрашены хной, зубы золотые. На ней было платье из тонкой радужной ткани, переливавшейся красками, как разлитый на поверхности воды керосин. Ткань называлась «ханатлас». Тетя Маня служила бухгалтером на фабрике, где изготовляли такую ткань. «Всю Среднюю Азию обслуживаем», — шумно гордилась тетя Маня. Дядя Максуд был резчик по дереву. Он сказал, что работает сейчас на строительстве новой чайханы. «Берем старый узбекский орнамент и прибавляем новые фигуры — звезда, серп и молот. Приедем — увидите». Тетя Маня и дядя Максуд привезли в мешочках рис, маш, урюк с косточками и без косточек и большую продолговатую дыню в камышовой оплетке. Дядя Максуд извлек из-за пояса узкий острый ножичек в чехле и начал нарезать дыню. Желтоватые ломти были похожи на серп месяца. «У нас луна на спине лежит. Вот так, — сказал он, протягивая мне длинный душистый ломоть. — Приедем — увидишь». На небольшой фотографии он показывал нашу будущую семью. Посредине сидели тетя Маня и дядя Максуд, а

вокруг стояли дети, постарше и помладше. «Азим, Усман, Рашид, — называл он, водя по фотографии крепким коричневым пальцем. — Зухра, Зейнаб...»

Справа на фотографии стояла тоненькая девочка лет двенадцати в платье из такого же «ханатласа», как на тете Мане. У девочки были две длинные черные косы и большие печальные глаза. «Влюблюсь непременно», — подумал я. Дядя Максуд приметил мое внимание, еще раз постучал пальцем по глянцевою листку фотографии, повторил: «Зейнаб»...

Мог ли я предположить в ту минуту, что Зейнаб на долгие годы станет моей единственной, неотступной любовью? Судьба уже разлучит меня с Маргеланом, а я всё буду преследовать ее встречами, признаниями, письмами, убеждениями — напрасно. Она останется верна Женьке, которому уготовано пять лет спустя погибнуть под Ельней. Семейство с трудом уговорит ее наконец выйти замуж за толстого Юсуфа, сына нашего маргеланского соседа. Юсуф учился у дяди Максуда резному делу, но стал работать не по дереву, а по алебастру.

В конце 50-х газетная работа забросит меня в Узбекистан — начнется строительство газопровода Бухара — Урал. В аэропорту вдруг подвернется местный самолет на Маргелан. В ранний час дня дома окажется только Зейнаб с детьми — то ли их четверо будет, то ли пятеро. Лицо Зейнаб расплывает, заполыхают волосы, ярко крашенные хной, во рту спереди засверкают золотые зубы. Она достанет из духовки только что выпеченную лепешку, нальет мне чаю и несколько раз повторит, что очень счастлива. «Дети такое чудо!» — нежным движением руки обведет комнату: дети ползали по полу, один кричал в кровати. На прощание она отдаст мне надписанную ей фотографию Женьки в солдатской шинели, снятую перед отправкой на фронт: «Пусть у тебя будет, а то Юсуф сердится». С того дня я дал себе слово не поверять реальностью того, что хранит память...

Но пока мы с Женькой уплетаем дыню, напоившую своим ароматом комнату, с интересом рассматриваем фотографию. Тетя Таша и тетя Маня деловито обсуждают приготовления к отъезду. Дядя Максуд принес из кухни чайник и радуется чаем. Пьет он его по-особенному, сразу из двух чашек: сперва наливает немного в одну, переливает в другую, потом снова в первую и только тогда уже подносит ко рту, держа не за ручку, а кончиками пальцев под доньшко, как пиалу.

ТОЙ ЗИМОЙ

1

Мне четырнадцатый год, я учусь в седьмом классе и влюблен в Женю Карасеву.

У Жени узкое, ловкое тело, длинные ноги. Она чемпион школы по лыжам. Ее лицо даже среди зимы смуглится загаром, светлые волосы выбелены солнцем.

В любви у меня несокрушимый соперник — первый в классе красавец Саша Любин, за сходство с античным богом из учебника истории для пятого класса, получивший прозвище Аполлон. К тому же за Любиным огромной расплывшейся тенью следует его верный оруженосец, силач Поскок (не кличка — такая странная фамилия).

«Если ты справишься с Аполлоном, Поскока я беру на себя», — говорит мой друг Владик Мухин. Мы в подробностях обсуждаем тактику возможного боя, но дело до него не доходит. Логический ход мыслей подсказывает нам, что, расквасив нос Любину, я Жениной любви не завоюю. Скорее, даже наоборот — только помогу сопернику: девочки любят, чтобы за них пострадали.

Владик моей влюбленности не одобряет, называет «детскими играми». Некоторое время назад у Мухиных гостила проездом дальняя родственница, толстая деревенская девица, пятью годами старше нас. Оставаясь с Владиком наедине, она поощряла его совершать исследовательские экскурсии по сокровенным местам ее тела, не разрешая однако переступить положенный рубеж. После ее отъезда Владик рассказал мне об этом, и признался, что в первый раз было увлекательно, а потом противно и скучно. В классе он держится искушенным мужчиной, с загадочной улыбкой опытности поглядывая на наши «детские игры».

Владик скептик, и ему это известно. Его движения нарочито замедленны, он любит усесться в сторонке, молча, устремив неподвижный, слегка сонный взгляд куда-то вверх, но на уроках физкультуры он сто раз без отдыха отжимается от пола, а когда мы играем в волейбол, редко кому удается взять его гас.

Отец у Владика разведчик, но об этом никто не должен знать, даже Владик. Я несколько раз встречал старшего Мухина, полного, лысоватого человека в больших роговых очках, мне трудно представить себе, что он занимается таким таинственным, опасным делом. Но Владик каким-то особенным, изобретенным им способом умеет открывать запретный ящик отцовского стола. Среди бумаг там имеется удостоверение, что такой-то (фамилия, конечно, вымышленная) работает слесарем-механиком в железнодорожных мастерских города Минска. На маленькой, не очень внятной фотографии — отец Владика: без очков, необычный наклон головы, — похож и не похож. Удостоверение помечено июнем 1941 года. Ящик манит нас не бумагами — в нем хранится черный пистолет; Владик умело извлекает обойму, заполненную патронами, сдвигает предохранитель, щурясь, целится в белый бюстик Бетховена на пианино, в ворону за окном, на соседней крыше, потом со щелчком загоняет обойму обратно. Прежде чем положить на место, он старательно протирает пистолет тряпкой, чтобы не остались отпечатки пальцев. Однажды мы обнаруживаем в ящике несколько пакетов с презервативами. Мы ошарашены. «Может, для конспирации?» — морщит лоб Владик, изучая надпись на пакете. После на людях мы иногда окликаем один другого: «конспирация!» — и начинаем хохотать ко всеобщему недоумению.

2

Первая военная зима удивляет палящими морозами, пургами. Даже у нас, в Сибири, такого давно не помнят. Еще затемно владельцы домов, дворники, дежурные, назначенные домоуправлением, шваркают широкими деревянными

лопатами, отгребая насыпавший за ночь снег от середины мостовой к тротуарам, обратившимся в узкие, шириной в один след тропинки.

Время от времени по нашей улице идут к вокзалу войсковые колонны. Снег громко и резко, будто кто-то равномерно рывком раздирает куски парусины, скрипит под валенками в такт четкому шагу. Красноармейцы с обветренными лицами, с завязанными на подбородке шапками-ушанками, поют застуженными голосами «Священную войну» и бодрые маршевые песни. Над колоннами поднимается пар горячего, живого дыхания.

Перед тем, как отправиться на войну, красноармейцы проходят подготовку в старинной кирпичной казарме на Советской улице. Когда их отпускают в увольнение, они толпятся по вечерам в городском сквере, — курят, перебрасываются шутками, толкают, чтобы не мерзнуть, друг друга плечом в плечо, заговаривают с девушками. Аллеи освещены фонарями, снег вокруг искрится, ветер сметает снежную пыль с кустов и деревьев, девушки с влажными от тающих снежинок, румяными лицами, с заиндивевшими завитками волос, выбившимися из-под шерстяного платка, в ответ на шутки и заигрывания, громко смеются, — жизнь кажется легкой и заманчивой.

В кинотеатре крутят ленты о революции и гражданской войне, про нынешнюю снять еще не успели, но на последнем сеансе вот уже третий месяц бесменно «Музыкальная история» с пленительным Лемешевым в главной роли. Все школьницы посмотрели фильм несчетно раз, едва не у каждой в каком-нибудь учебнике фотография кумира, вырезанная из журнала или напечатанная на открытке. С ним даже наш Аполлон не в силах тягаться.

Мы с Владиком принципиальные противники фильма, а заодно и Лемешева. К этому времени, годом раньше, чем того требует школьная программа, мы открыли для себя и пушкинский роман в стихах, и «Героя нашего времени». Мы заведомо предпочитаем Онегина его мечтательному приятелю, примером для подражания нами избран Печорин, мы холодны

к Ленскому и презираем Грушницкого. Где-то (у Белинского, кажется) я вычитал фразу: «Онегин убил Ленского — и подделом», — мы произносим эту фразу как заклинание и с победоносной улыбкой поглядываем один на другого. Владик, отличный художник, тонко отточенным карандашом рисует в альбоме дуэли. Вот Печорин, ожидая выстрела, встал боком, прикрывает грудь рукой с поднятым вверх пистолетом. Вот он, слегка откинув голову, наводит пистолет, неотвратно целится. Вот — уже после выстрела — взгляд вниз, перед собой, пистолет в опущенной руке...

3

Учебный год давно начался, когда в классе появляется новая ученица. Она кажется мне непривлекательной, теперь-то я понимаю, что она была красива. Тонкое еврейское лицо, чуть скуластое, с жарким румянцем на скулах, нос с горбинкой, темные, слегка навывкате глаза, полуприкрытые веками, выпуклые, немного африканские губы, вьющиеся волосы. Девочку зовут Роза, но в классе ее с первого появления именуют Пушкиным.

Впрочем, слово «девочка», как называем мы других одноклассниц, не пристает Розе. У нее большая, сформировавшаяся грудь. Узкие взрослые юбки, которые к тому же ей уже малы, обтягивают плотные бедра. Ребята бросают на нее нескромные взгляды, отпускают шуточки с намеком, но Роза будто ничего не замечает — всегда спокойное лицо, легкая улыбка, сдержанные движения, тихий голос и странный акцент, придающий ее речи какой-то особый смысл (хотя говорит она то же самое, что говорим мы).

Роза приехала в наш город откуда-то с Запада, чуть ли не из недавней Польши, уже два года не существующей на карте мира. Несмотря на акцент, по-русски она говорит до удивления правильно. И пишет без ошибок. Она вообще по всем предметам сразу же начинает получать одни «отлично», но, кажется, не придает этому ни малейшего значения, точно не

ведает, что существуют еще какие-либо оценки. У нее замечательные тетради — без единой помарки, густо исписанные мелким почерком. Почерк тоже особенный: нас с малолетства учили по чистописанию выводить буквы слегка вытянутые, с нажимом и наклоном вправо, у Розы буквы круглые, тонкие, без нажима, и поставлены прямо.

«А ты ей нравишься, — говорит мне однажды Владик. — Заметил, как она на тебя смотрит?»

«Глупости!» — Сдерживая довольную улыбку, я равнодушно пожимаю плечами. Но я и сам, что называется, кожей чувствую ее внимательный интерес ко мне, к моим словам, поступкам, ко всему, что со мною происходит.

«Ну, почему глупости? Занялся бы, — Владик поощряет меня тоном опытного «ходока». — Пушкин дамочка вполне... Всё на месте... — Он явно повторяет оборотец, перехваченный у кого-то из старших. — Карасева, конечно, чемпион, но, когда б я был, как ты, поэт, я выбрал бы Пушкина. Тем более, что тут и дуэли не предвидится.

В том-то и дело, что не предвидится! Сколько ни поглядывают на Розу наши ребята, и даже, случается, совсем взрослые старшеклассники, есть в ней что-то (непонятно — что), отчего влюбиться в нее совершенно невысказано. Можно попросить у нее списать уроки, заглянуть через ее плечо в книгу, которую она читает на перемене, но никому не придет в голову позвать ее после школы в кино, тем более проводить до дому. Она держится со всеми просто и доброжелательно, ее тоже никто не обижает, и все же какая-то она другая, чем остальные все, с ее грудью и бедрами, старинными блузками с пышным кружевным воротом, узкими юбками в обтяжку (наши девочки никогда не надели бы такое), с ее тихим голосом и полуприкрытыми глазами, с этой странностью речи, побуждающей прислушиваться к самым простым словам, которые она произносит. Я не сомневаюсь: влюбись я в Розу, это непременно делается предметом недоумения и насмешек. И, хотя интерес Розы мне льстит, я сторонюсь ее и разговариваю с ней еще реже, чем прежде.

В первый выходной после зимних каникул у нас большая военная игра. Военрук Попов, он же — Морж, делит класс на два отряда. Владик Мухин командует «синими», я оказываюсь в «красных», наш командир Аполлон, Саша Любин. Зато у нас в отряде Женя Карасева, поэтому, когда на просьбу Владика перевести меня под его начало Морж, рывкает, сердито шевельнув усами: «Вам приказано — исполняйте!», я тайно радуюсь, хотя совесть подсказывает мне, что в моей радости таится измена дружбе.

Ранним поездом мы едем за город. Командирам отрядов выдают план местности. «Красные» начинают движение из пункта А, «синие» из пункта Б. Победит отряд, который первый захватит опорный пункт на краю деревни Заельчанки и организует оборону до появления «противника». «Опорный пункт» этот нам хорошо известен — старый сарай: мы жили в нем летом, когда нас послали на работы в заельчанский колхоз. Мы спали на соломе, не раздеваясь; кормили нас плохо; но в сарае хранился жмых, и мы грызли его, с утра и до вечера, точнее бы сказать, пожалуй, с вечера до утра.

Мы привязываем лыжи к валенкам брезентовыми ремешками, только у чемпионки Жени и у Саши Любина настоящие лыжные ботинки, пьексы, с острыми загнутыми сверху носками, и лыжи настоящие, спортивные, с пружинными креплениями. На Жене бело-голубой динамовский свитер, Саша в кожаной пилотской куртке (она ему велика немного), перетянутой офицерским ремнем; остальные, кто в обычных пальто, кто в телогрейках.

«Мы их обгоним, — говорит Женя. — Я короткую дорогу знаю. Вот здесь, напрямиком, через ельчанские овраги», — она показывает на плане, который, развернув, держит в руках Любин.

«Ты что, одурела? Там же круча стеной!» — испуганно басит Поскок.

«Ничего, на заднице съедешь. Вон она у тебя какая здоровая», — ко всеобщему удовольствию осаживает его Женя.

Любин улыбается, командует: «Давай, чемпион, вперед! А мы за тобой».

Овраги и в самом деле почти отвесные. Кое-где на крутизне ветер сорвал белый покров, обнажив бурые глыбы промерзлой земли. Далеко, на краю снежного поля чернеют колхозные строения, но, чтобы добраться до них, надо съехать по обрывистому склону, на котором не проложено лыжни, и вдобавок попасть с разгона на узкий мостик через речку Ельчанку, — ее русло помечено на дне оврага темнеющей из-под снега прибрежной травой.

Крепко уперев палки в землю, Саша Любин стоит на самом краю обрыва: «Придется в обход. Мы тут и без лыж руки-ноги переломаем».

«Да ты что, Саш? В обход мы и к вечеру не доберемся».

Женя поворачивается к нам: «Ребята, спустимся как-нибудь? Там уже совсем близко, смотрите...»

Все в нерешительности молчат, только Поскок орет возмущенно: «Я же говорил! Теперь сама съезжай, на чемпионской на своей!...»

«И съеду!»

«Строимся — и обратно на дорогу», — приказывает Любин, оправляя на себе широковатую куртку.

И в этот момент Женя взлетает над оврагом. Она именно летит, лишь иногда касаясь лыжами склона, — я не успеваю перевести дыхание, она уже внизу на мостике, — машет нам палкой, приглашая следовать за ней.

Я не из лучших лыжников: задумайся я на минуту, вряд ли бы решился. Но я, не сообразив себе удивиться, что есть силы, отталкиваюсь палками — и тоже лечу: ноги, руки, все тело действуют сами (не то непременно бы разбился), и делают именно то, что нужно делать, — а я только вижу, как стремительно приближается стоящая внизу фигурка в белоголубом свитере. Мои лыжи дробно стучат по проледеневшему бревенчатому настилу моста. «Молодец!» — кричит Женя, сверкая улыбкой на смуглом от загара лице, и что есть силы, припускает через поле в сторону колхозных сараев. Я оборачиваюсь.

чиваюсь: наверху, над обрывом, никого из наших уже нет. Я, что есть сил, спешу за Женей и, непонятно, каким образом, не отстаю.

Морж встречает нас у ворот сарая: «А где отряд позабыли?»

«Улита едет, когда-то будет», — весело рапортует Женя.

«А вы как же?»

«А мы напрямки, через овраги».

«Своих бросили, значит?» — сердито шевелит усами Морж.

«Мы ж хотели как быстрее».

«Быстрее... А у них там, может, бой. Каждый человек наперечет».

Нам с Женей становится тоскливо.

«Объявляю вас дезертирами, — говорит Морж. — И потому не могу больше уважать. Идите в сарай, отдыхайте».

В углу сарая сидит на лавке Роза. Через плечо у нее брезентовая сумка с красным крестом.

«Я на лыжах совсем не умею, и меня сделали санитаркой».

На Розе длинное тесное пальто с двумя рядами дурацких маленьких пуговок от ворота до подола, которые ничего не пристегивают.

Вскоре появляется Владик со своими «синими», занимает опорный пункт, расставляет посты. Цепочка «красных» показывается, чуть ли не часом позже.

«Отдал опорный пункт! — Морж неохотно косится на Любина. — Шли бы через овраги, давно бы здесь были».

«Да там руки-ноги переломашь!» — спорит Любин.

«Руки-ноги!.. Они вон спустились, ничего!» — Морж кивает на нас с Женей.

«У нас не все чемпионы! — голос Любина звенит обидой. — Я не о себе, я о людях думал».

«На фронте тоже не все чемпионы. А люди твои, считай, теперь убитые. Или еще хуже: в плену».

Игра закончена.

Любин подходит к нам с Женей. Поскок, конечно, тащится за ним.

«Ну, что? Лопни, а держи фасон?» — Аполлон ласково кладет ладонь на плечо Жене.

«Дать бы ему по башке, чтоб не выдрючивался», — это Поскок про меня.

Владик стоит поодаль, но, я вижу, следит внимательно, не нужно ли помочь.

«Что было, то сплыло, — великодушно говорит Аполлон. — Есть между прочим два билета на вечерний сеанс. Разрешите вручить?»

Он вынимает из кармана две синие бумажные полоски, протягивает одну Жене.

Вот уже неделю в кинотеатре на последнем сеансе идет новая лента «Песнь о любви» — американская. Билетов не достать. Широкогрудый красавец Ян Кипура с его итальянскими колоратурами победоносно вторгается в сердца наших девушек, теснит отечественного кумира.

«Ой, Сашка! Ты чудо!» — Женя громко чмокает Аполлона в щеку.

Мне тут делать больше нечего.

«Занимайте места согласно купленным билетам», — с дурацкой улыбкой на круглой веснушчатой морде отшивает меня Поскок.

5

Неожиданно у меня начинаются отчаянные нелады с физикой. Вроде бы понимаю материал: решая задачи, подставляю в нужные формулы нужные числа, но решение почти всякий раз катастрофически не сходится с ответом. Я проваливаю подряд две контрольных. Учитель Георгий Силуанович назначает мне индивидуальную контрольную: чтобы исправить отметку, я должен после уроков, в одиночку, правильно решить за час шесть задач.

Кроме принятых «отлично», «хорошо», «посредственно» и «плохо», которые Георгий Силуанович вписывает в классный журнал, он ставит нам в тетради особые отметки, например, «плохо, но не безнадежно», «очень уж посредственно», «хорошо, да уж так ли хорошо?» и т.п. В моей тетради значится: «Плохо, непонятно, почему». На уроках Георгий Силуанович за-

жигает спиртовку и в маленькой никелированной мисочке, в какой взбивают кисточкой мыльную пену для бритья, жарит зернышки овса. Жизнь с каждым днем голоднее. По карточкам мало что выдают, кроме тяжелого, липкого, как глина, хлеба и сахарного песка. В школе нам полагаются бесплатные завтраки. Сперва каждый получал по бублику, но в последнее время бублик заменили на полстакана кедровых орехов.

На большой перемене ко мне подходит Роза и неожиданно высыпает орехи в карман моей телогрейки.

«Совсем не умею грызть орешки. Жую со скорлупой и выплевываю».

«Покажи, как ты грызешь? Вот чудачка! Ты ж их вдоль грызешь, как семечки, а надо поперек. Смотри».

«Поперек совсем не получается. Хочешь, приходи ко мне завтра утром, я научу тебя решать задачи по физике».

У меня перехватывает дыхание. Но Роза стоит передо мной, такая же, как всегда, и голос, как всегда, спокойный, и то, что она сказала, в конце концов, так обыкновенно. Я суетливо подыскиваю в уме слова, чтобы отказать, но вместо этого громко сглатываю слюну и спрашиваю неожиданно хриплым голосом:

«А когда?»

«Родители уходят рано, в восемь я уже одна».

Школьные занятия у нас во вторую смену — с половины третьего.

«Хорошо, приду», — говорю я, еще не уверенный, что решусь. И, чтобы не отступить, прибавляю, почти против воли: «В девять».

Орешки тяжелят карман моей телогрейки.

Владуку я ничего не рассказываю.

6

Я сижу на кровати рядом с Розой и чувствую тепло ее бедра.

Мне никогда не приходилось видеть, чтобы люди жили так тесно: кровать, придвинутый к ней высокий ящик вместо стола, по стенам на плечиках одежда, покрытая прищипленными листами газеты.

«А ты где спишь?» — спрашиваю я.

«Я стелю на полу. Вот здесь», — Роза показывает, где.

У нас с матерью тоже одна комната в общей квартире, но у меня есть свой диван, и письменный стол, и книжная полка.

А это, ясное дело, не комната даже — чулан; недаром окно так высоко.

Хозяйку дома, где поселили семью Розы, я хорошо знаю. Раньше Петровна, как все ее именуют, работала дезинфектором на городской санэпидстанции, а последние годы промышляет на базаре, в ларьке химтоваров. Она постоянно носит платок поверх папильоток, и оттого ее голова топорщится углами и шишками. Ее внук, Боря Соломин, тощий, белобрысый мальчик, одно слово — Соломина, учится в нашем классе. Мальчик он тихий, неприметный и вызывает у нас интерес к себе только тем, что ему досталось от кого-то старинное издание рассказов о Шерлоке Холмсе — переплетенные по несколько вместе брошюрки-выпуски в бумажных переплетах. Боря выучил их почти наизусть и пересказывает складно и подробно. Никому из нас читать рассказы не приходилось, мы жадно его слушаем. В колхозе, долгими темными вечерами, даже Георгий Силуанович охотно внимал историям о приключениях великого сыщика, и теперь, вызывая Соломину к доске, торжественно провозглашает: «Попросим великого Шерлока Холмса поделиться с нами своими умозаключениями».

Я сижу на кровати рядом с Розой, совсем близко. Когда Роза наклоняется, чтобы посмотреть, что я пишу в тетради, она прижимается ко мне грудью, ее волосы касаются моей щеки. Мне трудно дышать от охватившего меня ощущения, никогда прежде не испытанного. Я боюсь пошевелиться: в каждом движении чудится мне затаенная сокровенность. Странно: при этом я быстро и остро схватываю все, что объясняет Роза, еще вчера непокорные задачки решаются одна за другой с услужливой поспешностью.

«Теперь — контрольная: пять самых трудных за полчаса», — Роза ищет в книге, какие бы задать мне задачки, и тоненько обводит карандашом нужные номера. Не знаю,

как это получилось, я вдруг накрываю ладонью ее маленькую горячую, как птица, руку: «Не надо больше задачек. Я все понял».

Я держу ее руку в своей руке. Роза кладет мне голову на плечо. Она дышит часто и тихо. Я чувствую тепло ее дыхания. Я беру из ее руки карандаш и кладу на стол.

«Ты целовался когда-нибудь?» — спрашивает Роза.

Мне стыдно признаться, что нет, и я киваю утвердительно.

«С Женой Карасевой?»

«Нет, с другой девочкой, — вру я. — Она больше у нас не учится».

«Поцелуй меня».

Я быстро касаюсь губами ее щеки.

«Не так».

Роза сильно и жадно прижимается губами к моим губам. Ее выпуклые губы слегка раздвигаются, словно овладевая мной. Не прерывая поцелуя, она откидывается назад, — прижавшись друг к другу, мы лежим поперек кровати. Роза кладет мою руку к себе на грудь, — я чувствую ее большой крепкий сосок.

«Тебе хорошо?» — спрашивает Роза.

Я не отвечаю. Я не знаю слов, чтобы передать свое состояние. Кажется, больше никогда в жизни я не ощущал так ясно относительность пространства и времени. Я был, и меня не было. Мне хотелось громко засмеяться и заплакать одновременно.

Мы снова целуемся.

Потом просто лежим рядом — голова Розы на моей руке.

«А ты слышал когда-нибудь, как твои родители делают это?»

Я даже не сразу понимаю, о чем она.

Мы живем без отца. А мама? У меня и мысли никогда не возникало, что с ней может происходить что-нибудь такое.

Мама работает санитарным врачом на вокзале. С утра и до поздней ночи, а часто и ночью, она встречает поезда, набитые эвакуированными из захваченных немцами районов. Люди приезжают голодные, завшивленные, больные, — надо

всех осмотреть, помыть, накормить. На санэпидстанции большой душевой зал рядом с дезинфекционными камерами; в сторонке две кабинки с душем для персонала. Мы с мамой ходим туда мыться. Одного в баню она меня не пускает — боится, что вшей нахватаяю. Мы стоим вместе в кабинке под одним душем, мама меня мылит, и я тру ей спину мочалкой, я вижу ее совершенную наготу, и мне никогда не приходит в голову, что это нагота женщины, знающей мужскую любовь.

«А мои родители делают это каждую ночь, — говорит Роза. — Даже странно: сейчас такое плохое питание. Я лежу вот здесь, рядом, — она снова показывает место на полу, где стелет себе постель, — и все слышу. Они шепчут такие ужасные вещи, что мне иногда хочется умереть, чтобы не слышать. Дома у меня была своя комната, и я вообще ничего об этом не знала. У нас была большая квартира, шесть комнат. И еще для прислуги. Высокие окна на втором этаже. У меня под окном была католическая церковь и рядом садик. Там гуляли с нянями нарядные дети, играли в серсо».

«Что это — серсо?»

«Ты не знаешь? Кидают друг другу обруч и ловят его на палочку».

Мое воображение не в силах нарисовать эту непонятную игру.

«А где вы жили раньше?»

«Далеко, совсем далеко. Вот уже два года мы все едем, едем оттуда...»

Она встала с кровати, поправила одежду.

«Тебе, наверно, пора. Ты ведь не хочешь идти в школу вместе со мной? Возьми мою тетрадь. Перед контрольной еще раз посмотришь формулы».

В этот день Роза вовсе не приходит в школу.

7

Утром я едва дожидаясь восьми — бегу к Розе. Повод у меня есть — надо же отдать тетрадь. Я расскажу, как Георгий Силуанович, очищая от кожурок зернышки поджаренного ов-

са, просматривал контрольную, как не нашел в ней ни одной ошибки и вывел под оценкой: «Вы снова равны себе», — он всем ученикам, даже первоклассникам говорил «вы». Но в душе я признаюсь себе, что не из-за тетради, конечно, мчусь стремглав, обгоняя прохожих, наступая в сугробы. Помыслы мои пока не изошрены, желания не конкретны, — просто я чувствую: то, что произошло вчера, изменило мою жизнь, одарило ее каким-то новым содержанием, и я уже не хочу, не могу существовать без этого обретения.

С заднего двора, мимо будочки-уборной, мимо сбитого из досок мусорного ящика, наполненного комьями смерзшихся помоев, я вбегаю в дом — дверь почему-то открыта настежь, — выставив мне навстречу могучий круп, Петровна моет пол в пустом чулане.

«Тебе чего?»

У Петровны сердитое красное лицо, на голове папильотки под цветастой косынкой.

«Я к Розе», — и для чего-то протягиваю ей тетрадь.

«Нету, нету тут никакой Розы! Укатила твоя кралечка! В милиции предписание дали: чтоб в двадцать четыре часа. Они, видишь, какие люди неверные — им в нашем городе и местожительство воспрещено. И мне накостыляли, что держала три месяца. А я что! Мне их силком вселили, сказали площадь предоставить как вакуированным — я и предоставила».

«А тетрадь как же?» — спрашиваю я растерянно.

Петровна проводит ладонями по синему грязному халату, натянутому поверх телогрейки, берет тетрадь, толстым пальцем переворачивает страницу, другую.

«На кой мне она? Один раз на растопку?»

Я выдергиваю из ее рук тетрадь и ухожу, не прощаясь.

8

У дверей школы я сталкиваюсь с Женей. «Приходи в воскресенье на реку, — приглашает Женя, — там все наши будут». На высоком берегу Оби по выходным собираются любители кататься с гор. «Наши» — самые рискованные — выбира-

ют особенно крутые спуски; получить приглашение в круг «наших» — большая честь, прежде меня такой чести не удостоивали.

«Приходи», — повторяет Женя и крепко хлопает меня по спине портфелем.

«Не получится, чемпион, — отвечаю я виновато. — Никак не получится».

Я влюблен в Женю Карасеву, но я не могу пойти с ней в воскресенье на реку.

Вот и сейчас, когда пишу это, я чувствую, что не мог пойти. Я до сих пор помню тихий голос Розы, ее странную речь, маленькую горячую руку, вкус ее долгого поцелуя.

«Ну, и фиг с тобой!» — некрасиво усмехается Женя.

9

Я так и не узнал — да и откуда мне было узнать, — как всё случилось: почему Владик вдруг позвал к себе в гости Соломину, тихого Борю, с которым и словом-то редко перебрался. Ну, не про Шерлока Холмса же рассказывать он его позвал? Право, остается поверить в судьбу.

В тот самый вечер, под выходной, я отправился к Владик, решившись, наконец, рассказать ему про Розу, но на углу улицы встретил Соломину, — а при нем какой разговор? Я даже с некоторой радостью повернул обратно к дому. Мне хотелось открыться другу, но опасение быть неверно понятым удерживало меня. Я вспоминал рассказ Владика о деревенской родственнице.

А Соломина между тем оказался у Владика, и тут — вовсе для меня необъяснимое: Владик, крепко хранивший тайну, показал Соломине отцовский пистолет. Видно, что-то между ними возникло, чего я предположить не умею. Владик, конечно, по обыкновению, извлек обойму, потом они, наверно, стали целиться — в бюстик Бетховена, в ворону на крыше. Потом Соломина прицелился Владик, в лоб, смеялись, наверно...

Борю с тех пор никто не видел. Не помню уже, как сделалось известно, что он убежал на фронт. Так тогда у мальчиков

и называлось — «убежать на фронт». На железнодорожной станции, где-нибудь на дальних путях, мальчик отыскивал готовый к отправлению воинский эшелон, начинал упрашивать бойцов взять его с собой. Говорил, что сам он с оккупированной территории, что потерял по дороге родителей или отстал от детского дома, что не ел четыре дня. Какой-нибудь сердобольный солдат, едущий навстречу смерти, нагибался из двери теплушки, протягивал ему большую, сильную руку... Ну, а дальше с мальчиками всякое случалось.

10

Зима была на исходе, когда я получил письмо, помеченное, как все письма того времени, треугольным штампом военной цензуры. В конверте — открытка: серенькая фотография, кадр из кинофильма. Красавец Ян Кипура поет, одной рукой обнимая за талию красавицу героиню (уж и не помню, какая она из себя, что за актриса), другую руку простирая к зрителям. Под фотографией — напечатано: «Песнь о любви». И ниже, чернилами, прямым почерком, без нажима: «Город Красноярск, проездом».

**СОЧИНЕНИЯ
НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ**

«История — как отравленный колодец, вода которого просачивается в почву. Мы обречены повторять не то прошлое, которое не знаем, а то прошлое, которое хорошо известно».

Анна Майклз. Пути памяти

УХОДЯЩАЯ НАТУРА

Мы обнаружили этого мальчика на заднем дворе у входа в полуподвал, где помещалось домоуправление. Такого мальчика никому из нас еще никогда в жизни видеть не приходилось.

— Это что у тебя? — спросил Гага и подергал за длинный завитой локон, свисавший у мальчика на виске из-под синей суконной фуражки.

Светлые глаза мальчика налились слезами. Он пожал плечами и ничего не ответил.

Я догадался, что это за локоны, — просто до этой минуты я был уверен, что таких мальчиков давно нет на свете и встретить их можно только в рассказах Шолом-Алейхема, которые я читал позапрошлым летом.

— Тебя как зовут? — снова спросил Гага.

— Нахум, — едва слышно ответил мальчик.

— На х...! — Гага громко расхохотался.

Гага, которого на самом деле звали Егором, был сыном дворничихи Петровны. Он был известным хулиганом, даже взрослые его побаивались.

— А что я с ним поделаю! — кричала тощая, похожая на вяленую рыбу, Петровна, когда кто-нибудь жаловался ей на сына. — Отец жив был, лупил смертным боем, а я что могу! Пойдет воевать или в тюрьму, там уму-разуму научат!..

Она утирала глаза грязным белым фартуком. Отца Гаги, прежнего нашего дворника, убили на фронте в первый же месяц войны.

— Ну, что ты к нему пристал? — сказал Анга и положил на плечо Гаге свою огромную ладонь, вызывавшую мою зависть.

Анга был сильнее всех ребят нашего двора, возможно, даже всех ребят, обитавших на нашей улице Сталина.

Мальчик с локонами на висках, в синей суконной фуражке, коротком пальтеце, с холщовой котомкой за плечами жался к стене, у входа в полуподвал. Мы трое обступили его. Он был младше нас, лет десяти-одиннадцати, и заметно мельче, — узкие плечи, бледное лицо с нежным румянцем на скулах, тонкие руки.

Стоял ясный денек ранней сибирской осени: неяркое солнце, свежий прозрачный воздух, в котором предметы гляделись объемно и все цвета вокруг обозначались ненасыщенно, но четко, — бледная голубизна неба и маслянистая зелень штакетника, отразившиеся в налитой ночным дождем луже, золото длинных иголок лиственницы, уже начавших осыпаться в соседнем — детсадовском — дворе.

— Ты что — эвакуированный? — спросил Анга и кивнул на вход в полуподвал, где помещалось домоуправление.

Мать Анги, Алиса Эдуардовна, была у нас управдомом. Я помнил и его отца, латышского стрелка, такого же рослого, широкоплечего и светловолосого, как Анга, ходившего в длинной, чуть не до земли шинели и остроконечном, с большой красной звездой на лбу красноармейском шлеме, — стрелок сумел умереть своей смертью, не дождавшись тридцать седьмого года.

— Выковыренный? — засмеялся Гага и снова потрепал пальцем локон на виске мальчика.

Мальчик испуганно смотрел на нас и молчал.

— Он не понимает, — сказал я.

— Не русский, что ли? — удивился Гага.

— Не понимает, — повторил я, не вдаваясь в подробности.

— Ты откуда? — Анга показал двумя пальцами идущего человека.

— Польша, — тихо сказал мальчик.

— Польша? У кого больше, тот и пан?.. — Гага снова захохотал.

Он достал из кармана обсыпанный табачными крошками белый мятный пряник и протянул мальчику: «Хавай».

Уже ввели карточки, но голодное время полной мерой еще не коснулось нас. Скоро мы узнаем подлинную цену пай-

ки хлеба и пригоршни сахарного песка, в школе на большой перемене нам будут давать в качестве бесплатного завтрака по полстакана кедровых орехов, полученный по талону ржаной пирог с жесткой горбушей, засоленной так, что на поверхности белели кристаллы соли, покажется лакомством. Однако и в тот день, о котором идет речь, мятный пряник уже почитался большой ценностью — просто так не купишь, так что неожиданный жест Гаги был несказанной щедростью.

Мальчик с каким-то отчаянием посмотрел на белый рифленый кружок, лежащий на грязной гагиной ладони, снова поднял глаза и еле слышно то ли спросил, то ли сказал:

— Кошер?..

Мы переглянулись.

— Чегой-то он несет? — Гага повернулся ко мне, к Анге. — Думает, мы кошек тут, что ли, едим. Вот — дикие. Да ты бери. Мятный... — Он сунул пряник мальчику в карман пальто.

Мальчик пожал плечами и улынулся. В глазах у него были слезы.

— Что это он? — спросил меня Анга. — Правда, будто с луны свалился.

— Может быть, по-немецки с ним поговорить? — предложил я. — Еврейский язык похож на немецкий...

Из двери полуподвала выбрался Семен Моисеевич, по прозвищу Котовский. Толстый, с обритой наголо большой круглой головой он и в самом деле походил на означенного всенародного героя, как его изображали на картинках.

Семен Моисеевич тоже воевал в гражданскую, был в кавалерии и любил рассказывать, что сам Буденный после какого-то боя похвалил его: «Хорошо рубишь, тезка!»

— Мы ведь с Буденным — тезки, — непременно прибавлял он. — Только он Семен Михайлович, а я Семен Моисеевич.

Наш Котовский был член домового комитета и заядлый общественник.— Ничего не выходит, ребята, — обратился он к нам, будто полагая, что мы в курсе дела. — Придется им дальше ехать. Алиса Эдуардовна так старалась, и туда звонила, и сюда, и не знаю, куда, чтобы как-нибудь их здесь оставить — всюду один ответ: ехать согласно предписанию. Ко-

нечно, предписание есть предписание, документ, — Семен Моисеевич произнес слово с ударением на «у» и значительно поднял вверх палец, — но что значит «согласно предписанию», если предписание у них в К., это еще шестьсот километров, а на вокзале сидит мать с двумя больными малыши детьми, и как туда в К. ехать, и когда, и на каком поезде, и что кушать по дороге, никто толком не может сказать...

Он нагнулся к мальчику и, задыхаясь, начал что-то быстро объяснять ему по-еврейски (тогда почти все, и моя бабушка тоже, у которой я жил в этом городе, называли идиш «жаргоном»). Мальчик, широко раскрыв глаза, с отчаянной надеждой смотрел в его круглое, красное лицо.

Появилась Алиса Эдуардовна и с ней отец мальчика, едва дошедший ей до плеча рыжебородый человек в посеребренном от возраста черном пальто с большими пуговицами и черной шляпе. У него были такие же, как у мальчика, ясные, светлые глаза.

— К сожалению, ничего больше сделать для вас не в силах, — сказала Алиса Эдуардовна. — Что могла.

Ее строгое лицо, по обыкновению, казалось непроницаемым. Она протянула собеседнику руку; отец мальчика принял ее крупную руку обеими руками:

— Что вы, что вы! Такое вам спасибо. Такое спасибо!..

— Что могла, — повторила Алиса Эдуардовна. — Доброго пути... Я на санэпидстанцию, — это уже Семену Моисеевичу. — А вы не торчите во дворе. Идите уроки делать, — это, конечно, нам. — Анга, учти, вечером проверю математику за два дня.

— У меня все в исправности, — спокойно ответил Анга.

— Об этом я тебе скажу...

Застегивая на ходу свою вечную кожаную куртку, Алиса Эдуардовна широким, четким шагом направилась к воротам.

Отец мальчика обвел нас ясными улыбающимися глазами:

— Ой, как жаль, как жаль, как жаль, — заговорил он слегка нараспев, но при этом торопливо сглатывая слова. — Такие могли быть у тебя хорошие товарищи, — он потрепал плечо сына. — Смотри, такие большие, сильные, с такими никто не

обидит. Нахум у меня очень хороший мальчик. А как в шашки играет! Всегда выигрывает. Но что делать! Дорог много, а судьба одна...

— А вы откуда будете? Из Польши, что ли? — спросил Гага.

— Откуда? Вы будете смеяться, молодые люди, но откуда уже нету, осталось только куда.

— У вас в К. есть кто-нибудь? Какие-нибудь родные? — спросил я, потому что сам жил у бабушки.

— Родные? Разве эта женщина — он показал в сторону удалявшейся Алисы Эдуардовны — мне не родная? И вы, дети, разве мне не родные? И он? — отец мальчика кивнул на Семёна Моисеевича. — Завтра в К. добрые люди дадут нам кусочек крыши над головой и станут наши лучшие родные.

Когда он улыбался, во рту у него белел ровный рядок мелких зубов.

— А чем вы занимаетесь? — поинтересовался Анга. — Где работаете?

— Чем занимается человек? Ловит счастье. Вот так... — Отец мальчика взмахнул рукой, будто ловил что-то в воздухе, и вдруг между указательным и средним пальцами его белой руки оказалась медная пятикопеечная монета. — Но счастье можно только ловить, поймать его нельзя. Только ты обрадовался, что поймал, его уже нет...

Он разжал пальцы, в руке у него ничего не было.

— Потрясно! — восхитился Гага. — Циркач, что ли?

Вниз по нашей улице, на небольшой площади, был разбит цирк Шапито; в известных нам местах, где брезент покрова не был плотно закреплен у земли, мы пролезали в помещение и, забившись где-нибудь на верхотуре, смотрели всё одно и то же представление, которое давали уходящим на фронт красноармейцам.

— Тателе, пошли, — потянул мальчик отца за рукав и прибавил что-то непонятное.

Гага сунул руку в карман, достал еще один мятный пряник (пек он их там, что ли): «Держите». Помедлил, снова полез в карман, достал еще пряники, сразу два (похоже, минувшей ночью он со своими дружками с Заречной стороны навестил какой-нибудь продуктовый ларек): «Вот — еще»...

— Ой, молодой человек, молодой человек! Вы еще сами не понимаете. Когда у вас будет такая борода, как у меня, только совсем белая, вы будете приятно вспоминать этот день. Это я вам говорю.

— Пошли, — мальчик снова потянул отца за рукав. В глазах у мальчика была тоска. — Там мамеле ждет...

И он снова залепетал что-то непонятное.

— Здесь шестьдесят рублей, — Семен Моисеевич протянул отцу мальчика две красных тридцатирублевых ассигнации. — На них еще можно купить что-нибудь. Там, у вокзала бабы продают яблоки, так вы берите не румяные, а зеленые — зеленые сочнее...

Отец взял мальчика за руку, и, пока они пересекали широкое пространство двора, я видел, как он, склонившись к сыну, что-то горячо говорил и говорил ему, мальчик слушал его, поднимая к нему голову, и от его узенькой спины с подвешенной на ней серой котомкой веяло непереносимым отчаянием.

— Когда-то и я был таким мальчиком, — глядя им вслед, сказал Семен Моисеевич, — рос в местечке и учился в хедере разным глупостям. Но потом, слава Богу, попал в город, на завод. А потом революция, и — «По коням!» Даже не думал, что остались еще такие местечки, такие мальчики. Ну, да победим врага, всё по-своему переделаем...

Послышалась приближающаяся военная песня, ровный стук о землю сотен обутых в тяжелые солдатские сапоги ног, — мы вышли за ворота. Слева, уже вдалеке, виднелись две удалявшиеся в сторону вокзала фигурки. Отец держал сына за руку и, склонившись к мальчику, всё толковал ему что-то. А вслед им, с другого конца улицы, заполняя ее, двигалась нескончаемая военная колонна, новые, не сношенные еще подметки крепко, в лад, печатали шаг, обтянутые серым сукном шинелей плечи чуть покачивались в такт шагу и, казалось, раздвигали в стороны стоявшие вдоль улицы слева и справа дома, тысячи грудей, вдыхая свежий осенний воздух, дружно выкрикивали бравые слова песни: «Пятьдесят вторая, боевая, сибирская стрелковая дивизия идет...»

МУЗЕЙ АННЫ ФРАНК

— ...Анна жаловалась в дневнике, что комната сырая и тесная, а ведь жила она в ней не одна, вместе с ней поселился еще друг родителей, пожилой мужчина, позабыл его имя...

Высокий рыжий парень с небрежной бородой, стоявший впереди нас, был скорей всего голландец, но говорил по-английски.

— А почему она не жила в комнате с родителями? — спросила его спутница, маленькая — она не доставала головой ему до плеча, — смуглая, слегка раскосая, черные прямые волосы — что-то дальневосточное, Бирма, Непал, может быть, Лаос какой-нибудь.

— У родителей была своя комната, с ними жила старшая сестра Анны, Маргот.

— Мы всегда жили все в одной комнате, родители, дети, — впрочем, это была не комната — дом, не такой, как этот, конечно: одноэтажный дом, под камышовой крышей. Очень красивый. Я спала вместе с братьями и сестрами. У меня два брата и четыре сестры.

На девушке были джинсы и трикотажная майка в полоску, вроде матросской тельняшки.

— ...Когда инженер Айзенштадт оборудовал малину в котельной, это в заброшенном доме возле рабочего блока, туда набилось двадцать четыре человека, а он рассчитывал на пятнадцать, — сказала Ханка. — Поверишь, невозможно было в уголок отползти за своим делом. Но все-таки главный ужас не теснота, а духота...

— Вместе с Франками поселилась еще одна семья, этажом выше, для них тоже были оборудованы комнаты, — объяснял рыжий голландец. — Муж, жена и мальчик, Петер, кажется...

— У него с Анной была любовь? — поинтересовалась дальневосточная девушка в тельняшке.

— Целовались, наверно, — снисходительно предположил рыжий.

— ...От недостатка кислорода люди сходят с ума, — сказала Ханка. — Жена Айзенштадта начала заговариваться, а потом принялась кричать, какие-то ужасы ее мучили. Люди боялись, что услышат немцы, и уже сговаривались, чтобы ее убить...

— Думаешь, могли убить? — Я вспомнил жену Айзенштадта, рыхлую женщину с обвисшими щеками и накрашенными губами, безобидную, как черепаха.

— Еще как могли. Я знала отца, который в малине со страха задушил ладонью своего маленького сына. Чтобы не кричал. После войны они с женой хотели родить другого мальчика, но у них рождались только девочки, — три девочки подряд, мальчика так и не получилось...

Прежде чем прийти сюда, на Prinsengracht, мы завтракали в кафе на площади, где стоит памятник Рембрандту, — художник со своего пьедестала задумчиво смотрел на студентов, лежащих на траве газона между работок, густо засаженных оранжевыми голландскими тюльпанами.

Я еще накануне купил для Ханки билет в музей Ван Гога (ее любимый художник), а заодно в королевский музей — посмотреть «Ночной дозор», но прежде того мне хотелось показать ей город, провезти на кораблике по каналам.

— Ближе к устью, где река впадает в море, удивительно много цапель. Из воды торчат старые, серые сваи, и на каждой — цапля, неподвижно, на одной ноге...

— Цапли — это красиво. Но сначала сходим к Анне Франк, — сказала Ханка.

— Торопись вспомнить?

— Просто, не забываю...

Ханка лишь два часа назад, ранним утром, прилетела в Амстердам из своей Канады, полет нелегкий, большая разница во времени, я полагал, что она непременно захочет отдохнуть, но — едва я успел справиться в холле гостиницы с чаш-

кой кофе и пробежать оказавшиеся на журнальном столике «Аргументы и факты» — она уже появилась из своего номера, красивая, стройная, пахнувшая свежестью умывания и какими-то легкими молодыми духами, — как бы небрежно, но обдуманно уложенные в прическе седые с черными прядями волосы, черное платье (она всегда носила черное), туфли на высоких каблуках, точно мы в оперу собрались, а не таскаться весь день по городу, — вечно прекрасная моя восьмидесятилетняя кузина.

День выдался погожий. Во взъерошенной солнечными бликами воде канала покачивались и ломались отражения стоящих вдоль набережной домов. У дверей музея Анны Франк, по обыкновению, выстроилась длинная очередь. — Вот и хорошо, — сказала Ханка. — Есть время поговорить. Столько лет не виделись.

Мы встали в очередь вслед за рыжим и его дальневосточной малышкой.

— Из комнаты Петера вел ход на чердак, ты увидишь, — просвещал рыжий свою подружку. — На чердаке они хранили продукты.

— На чердаке?.. А откуда они вообще брали продукты? Может быть, им птицы приносили?.. — девушка засмеялась.

— Ты совсем глупая...

Рыжий нагнулся к ней, и они поцеловались.

— ...Потом Хейфецы и Шаргородские испугались облавы и ушли из малины, — вспоминала Ханка. — Стало больше воздуха. А тут еще удалось вытащить пару кирпичей из наружной стены. И жена Айзенштадта перестала бредить.

— И что облава?

— Облавы не было. А они все попались там, на воле. И Хейфецы, и Шаргородские. Один Адик Шаргородский спасся. Ты помнишь Адика Шаргородского?..

Я познакомился с Адиком Шаргородским за год до войны, когда приехал на летние каникулы в М.: дядя Гриша, отец Ханки устроил меня вместе с ней на две смены в пионерский лагерь, принадлежавший заводу, где он был главным инженером. Но тогдашнего Адика я не помнил. Я помнил толстого

небритого мужчину, которого встретил полвека спустя в Израиле: он водил меня по парку в Ашкелоне, с гордостью показывал лежащие в яме раскопанные громадные каменные столбы и объяснял, что это руины разрушенного Самсоном дворца филистимлян (позже я прочитал, что дворец филистимского идола находился не в Ашкелоне, а в Газе).

— Они набрели на какой-то заброшенный сарай и решили там спрятаться. Но кто-то заметил их и донес. Немцы тут же пришли и всех захватили. А Адик лежал в соломе под телегой и спал. Он очень устал и, как только попал в сарай, сразу уснул. Немцы его не заметили. И он, представь, даже не проснулся. Так все быстро получилось. Когда он вылез из-под телеги, уже никого не было...

Видимо, большая группа посетителей — экскурсия какая-нибудь — закончила осмотр музея: мы продвинулись сразу на несколько десятков шагов ближе к входу.

— Продукты приносили сотрудники фирмы, знавшие про убежище, — объяснил рыжий. В доме помещалась фирма, которая до прихода немцев принадлежала отцу Анны...

— А почему сотрудники фирмы не прятались так же, как Анна и ее отец?

Мы с Ханкой переглянулись. Прелесть наивности этой залетевшей невесть откуда дальневосточной пичужки была поразительной. Но по своей наивности она задала решающий вопрос — самый непостижимый вопрос, который так привычен и ясен для всех, что его уже давно перестали задавать.

— Но ведь нацисты уничтожали только евреев... — Рыжий парень с удивлением посмотрел на свою подругу, точно у нее на лбу появились таинственные письмена.

Смуглое лицо девушки было непроницаемым, в ее черных, слегка раскосых глазах, снизу вверх устремленных на парня, оставался непоколебленный спокойный вопрос.

— Они считали, что евреи во всем виноваты, ну и... — Рыжий замялся.

— Почему?

Рыжий снова посмотрел на девушку, будто с ней случилось что-то совершенно непредвиденное.

— Ты что, ничего не слышала об антисемитизме? — В голосе его послышалось даже некоторое неудовольствие.

Девушка задумалась.

— В Камбодже дети убивали своих родителей, — сказала она.

— Там, наверно, не было евреев, — парень с понимающей улыбкой обернулся к нам, как бы за поддержкой.

— В Камбодже евреями были родители, — сказал я. — Евреи уже давно не материальная субстанция. Они нечто привносимое, как эфир в старой физике. Без них трудно сопереживать причинам и следствиям.

Мы снова вдруг резко продвинулись к входу.

— Анна, ее родители и те, кто был с ними, провели в убежище два года и один месяц, — заторопился рыжий. — Еще совсем немного, и они бы уцелели. Но нашелся предатель...

— ...Сколько ты просидела в малине? — спросил я Ханку.

— Шесть дней. В ночь на седьмой, один знакомый парень помог, партизан, я ушла в лес. А через два дня малину накрыли. Их Яцук выдал. Добродушный такой старичок. Он был чертежник и знал про эту подсобку в котельной. Он вообще всё и всех знал на заводе — ветеран. Одни говорили потом, что он ушел с немцами, другие — что партизаны вычислили его и расстреляли...

— Кто же их выдал, Анну Франк и всех этих людей и за чем? — спросила смуглая девушка.

— После войны три раза, кажется, проводили расследование, но доносчика так и не определили.

— Но все-таки зачем? — повторила девушка. — Они что — мешали ему?

— Кто теперь разберет — зачем? Может быть, боялся не сообщить, или завидовал, или хотел выслужиться...

— Скорее всего, они ему, действительно, просто мешали, — сказала Ханка по-английски, обращаясь к девушке.

Девушка внимательно посмотрела на нее своими черными маслянистыми глазами.

— Кто-то, нам неизвестный, позвонил куда следует, — рассказывал рыжий. — Эсесовец Зильбербауер — его имя из-

вестно — в сопровождении нескольких наших голландских наци — пришел и арестовал всех, кто находился в убежище.

— И что с ними сделали?

— Ты же знаешь, их отправили в Аушвиц, это лагерь уничтожения...

— Нет, с этим эсесовцем, с вашими наци?

— Зильбербауера, кажется, судили, но он доказал, что лишь выполнял приказ и действовал корректно. После войны он служил в венской полиции. Я видел его портрет: самое обыкновенное лицо.

— Знаешь, Мюллер, ликвидатор гетто у нас в М., тоже служил потом в венской полиции, — сказала Ханка. — Коллекционировали их там, что ли...

— Ну, не только в Вене, — сказал я. — Гауляйтер Кёльна и Аахена Иозеф Грое, доверенное лицо Гитлера, возглавил позже крупную фирму игрушек, полвека продавал пасхальных зайцев и плюшевых медведей.

— ...Когда эсесовец с пистолетом вошел в убежище, отец Анны помогал детям готовить уроки, — продолжал рыжий: — они там постоянно занимались, чтобы не отстать от школьной программы.

— ...Их сразу можно было узнать по шагам, — сказала Ханка. — Они так крепко ставили ногу, сразу на всю стопу. Мне иногда снится: я прячусь где-нибудь, в подвале или в чулане, и вдруг слышу их шаги — хлоп, хлоп, хлоп — и понимаю: всё, конец. И просыпаюсь в ужасе. Даже дыхание останавливается...

...Я слышал эти шаги в середине девяностых в Москве.

Первое, что бросилось мне в глаза, когда они вошли в зал, были сапоги — три пары тяжелых, прилежно начищенных сапог. Они вошли, трое, и, не задержавшись в дверях сразу направились в центр зала, где на столе находился взятый под стекло небольшой — примерно полметра высотой — макет дома на Prinsengracht. На двоих из них были черные гимнастерки, стянутые портупеями, на третьем — самом старшем, с редкими седыми усами и седой молодежной челочкой на лбу, он держался посредине — простенький москвошвеевский

пиджачок. Где-то я видел это лицо, но поначалу никак не мог припомнить. Впрочем, где только не увидишь такое лицо — на улице, в трамвае, в конторе.

Имя Анны Франк долгие годы, если упоминалось в России, то лишь нехотя, мимоходом. Но тут — свобода! — свергнутый памятник Дзержинскому, устремив незрячие глаза в небо, лежал, зарастая травой, под окнами Дома художников у Крымского моста, а в самом здании, в одном из залов, утеснившись между шумных, броских экспозиций, почти незаметная и не замечаемая ни на афишах, ни в прессе, располагалась скромная выставка, посвященная известной всему миру девочке и ее дневнику, повсюду читаемому, — акция какого-то международного благотворительного, человеколюбивого общества.

Отведенный под выставку зал оказался слишком велик для небольшого макета и просторно разложенных в витринах фотографий и ксерокопий. Мы молчаливо бродили в пустынном, залитом светом помещении, всего шесть-семь человек, отделенные, казалось, верстами один от другого, все без исключения весьма почтенного возраста (как говорилось в давно забытом стихотворении, «пять человек, которым в сумме четыреста лет») и, похоже, единой национальной принадлежности. Изредка двое или трое из нас оказывались одновременно у стоявшего в углу монитора, на экране которого нон-стоп крутилась лента — история Анны Франк, — все так же в молчании, напряженно всматриваясь и вслушиваясь, ловили мелькавшие кадры, слегка кивая головой, словно в такт проживаемой перед нами жизни.

Они — трое — остановились у макета, минуточку-другую, хмурая лбы, читали размещенный на столе объяснительный текст.

— Развели тут свою агитацию, — сказал один в черной гимнастерке. У него было корявое лицо — видимо, следы мучивших его в юности волдырей. — Всех купили. Правду, говорят: евреи в Кремле, русские в тюрьме. Ломом бы по этой игрушке...

— Да ты что! Квартирка что надо! — вступил в разговор другой, самый молодой из троих, почти подросток, похожий

на Буратино. — Нам такие только при коммунизме обещали. Я бы сам с ними пожил. — Он подмигивал своим спутникам и казалось даже, приплясывал. — И девчонка симпатичная. Вполне можно. Скажи? И мамаша еще ничего...

Однажды в южном городе я шел в многолюдии отдыхающих горожан по аллее местного парка. Вдруг толпа резко, — почудилось, даже качнувшись, — остановилась, будто кто-то нажал на невидимый тормоз, — и замерла на месте. Выбравшись из кустарника, через аллею, неторопливо поворачивая свое сильное, послушное тело, по-хозяйски переползала большая черная змея. Наверно, если бы люди предполагали заранее возможность такой встречи, они бы не были парализованы страхом. Неожиданность обезоруживает растерянностью.

...Мы окаменели, ошалевшие от неожиданности старики.

Первой очнулась, маленькая старушка в серой вязаной кофте.

— Как вы смеете!.. — пискнула она тонким срывающимся голоском. Но ей, наверно, казалось, что она кричит.

Пришельцы даже не взглянули на нее. Старший, в пиджачке, лишь повел перед собой рукой, словно раздвигая воздух или отгоняя какое-то видение.

— Ложь. Всё ложь, — произнес он громко и отчетливо, будто читая со сцены. — Дóма не было. Девочки не было. Дневника не было. Никто не прятался. Евреи в Амстердаме пили с немецкими офицерами в кафе оранжаду и торговали оружием, хлебом, нефтью. А потом, когда земля захлебнулась в крови тридцати миллионов, явился ловкий еврейский сочинитель и накатал весь этот — старший пожевал губами, усмехнулся и презрительно выдал с нарочитым ударением на первом слого: — рóман. И человечество снова должно платить евреям за то гноище, в которое они обратили наш мир. Но — ничего. Недолго им еще хануку праздновать.

Буратино притопнул от восторга и залился смехом.

Ставя ногу на всю ступню, они — трое — зашагали в своих сапогах к выходу.

И тут я вспомнил, откуда мне знаком этот человек. За несколько дней до того он появился на экране телевизора в сю-

жете «Новостей», где рассказывалось об оправдании судом российского издателя «Майн кампфа». Невысокий сухонький человек с седой челочкой на лбу, в простеньком пиджаке победно шествовал по проходу между рядами стульев в небольшом зале судебного заседания. У дверей зала и на улице его ждала толпа восторженных поклонников, — они встретили его овацией и забросали розами...

— Ну, кажется, наша очередь, — сказал я.

Мы были уже у самого порога музея.

— Мне даже немного страшно, — сказала смуглая дальневосточная девушка, когда мы вступили в вестибюль, показавшийся сумрачным после солнечной улицы и сверкавшей в канале воды. — Эта Анна Франк как будто девочка из сказки с несчастливым концом. И заранее знаешь, что конец несчастливый.

— Ну, что ты, — рыжий сверху ласково обнял ее за плечи, слегка прижал к себе. — У всех сказок по-своему счастливый конец. И потом это было так давно. наших родителей еще не было на свете. Это для нас Анна — девочка. Если бы она осталась в живых, ей было бы уже семьдесят пять лет.

— Не может быть! — Девушка смотрела на него испуганно.

— Отчего же? — сказала Ханка. — Анна была на пять лет младше меня.

Возле кассы были разложены путеводители на разных языках.

— Тебе английский? — спросил я Ханку.

— Не надо. Потом. Сами разберемся, — сказала Ханка. — Как-нибудь уж сами разберемся.

ТРЕПЕТ ВОЗДУХА

Эдуарду Козлову

Погожим осенним днем в небольшом литовском местечке расстреливали евреев.

Занимался этим отряд литовцев, которые называли себя «партизанами»; литовцы были не свои — со стороны.

Немецкий конвой подводил очередную партию к вырытому на опушке леса глубокому прямоугольному котловану — при Советах тут начали строить какой-то военный склад, и не достроили, — людей загоняли в яму, расстрельщики стояли сверху по краю котлована и палили из винтовок и карабинов. У некоторых были просто револьверы, и они особенно старательно целились, прежде чем выстрелить.

Тремя месяцами раньше, едва началась война, местечко заняли немцы и сделали в нем рабочий лагерь.

Евреев поместили в казарму, где когда-то, еще до Советов, жили сезонные рабочие, приезжавшие летом на строительство узкоколейной железной дороги.

В домах, принадлежавших евреям, поселились немецкие солдаты. Некоторые дома стояли пустые, с заколоченными дверями и окнами.

Теперь линию узкоколейки тянули евреи.

Работа была тяжелая — стальные рельсы, просмоленные брусья шпал. Но евреи знали: пока тянется линия, тянется их жизнь.

Командовал в лагере молодой гестаповец Мюллер.

Гестаповец Мюллер приказывал во время работы петь песни.

Ему нравятся веселые еврейские песни, — говорил гестаповец Мюллер. Некоторые по его приказу приходилось петь три, четыре, пять раз подряд.

Петь бывало и трудно, и не хотелось, но лучше петь, когда не хочется, чем молча лежать в могиле.

Иногда, впрочем, песня вдруг падала в масть, как объяснял Цви Довид, до войны служивший кантором в здешней синагоге: с песней что-то менялось в измученных работой и ожиданием смерти людях — они перемигивались и улыбались друг другу, в их лицах и движениях просыпалась забытая радость.

Гестаповец Мюллер тоже улыбался и кивал в такт по-немецки белокурой головой.

Однажды утром евреев не повели на работу. Выходить из казармы было запрещено. Люди толкались в узких проходах между нарами, брали один другого за рукав, рассуждали и спорили о том, что будет.

Многие предполагали, что всех повезут в город, где имелось большое гетто, — кажется, из некоторых окрестных местечек евреев уже перевели туда; самые умные помалкивали — они понимали, что дело плохо.

Ликвидировать лагерь прибыла из города специальная команда во главе с начальником еврейского отдела гестапо. Его фамилия была тоже Мюллер...

...«У них в Германии, куда ни повернись, всюду Мюллеры, — сказал старый Мендл, мой двоюродный дед. — Можно подумать, что они там только тем и заняты, что мелют зерно»...

Старый Мендл, по обыкновению, восседал в своем высоком кресле с бархатной зеленой обивкой, давно потертой добела, — маленький (ноги не достают пола), будто игрушечный старичок, маленькое лицо, утонувшее в седой бороде,

черная бархатная, расшитая серебряными нитками ермолка, потеряя, как и обивка кресла, и черные, живые, всегда влажные от слез глаза. Не потому, что дед Мендл плакал, — просто глаза его были всегда полны слез.

Главный Мюллер брил голову наголо, крепкий литой затылок теснился в вороте мундира.

Немцы были в военной форме, расстрельщики же, литовцы, каждый в своем — обыкновенные пиджаки, куртки, байковые рубахи, — но все перетянуты новыми скрипучими портупьями, и фуражки на всех одинаковые, синие, с непонятным значком вместо кокарды.

Дело двигалось спокойно, по плану. Партии небольшие, чтобы не вызывать суматоху. Пока приводили очередную партию (от местечка до опушки в лесу было километра два), успевали неторопливо покончить с предыдущей и немного передохнуть.

Главному Мюллеру нравились такие сельские акции. В больших гетто непременно напряженный быстрый ритм, много крика, стрельбы, нередко толчея, даже паника, отсюда перегрузки для оцепления и конвоя. Здесь же, на опушке, когда стихали выстрелы в ожидании новой партии обреченных, слышно было, как в наступившей тишине снова начинают петь лесные птицы.

Сперва расстреляли мужчин, тех, кто помоложе и покрепче, потом пошли старшие, женщины, дети.

Люди приближались к котловану молча, с какой-то отстраненной сосредоточенностью, будто смирившись с неизбежным, может быть, даже, переступив туда. Только уже на краю ямы, когда малых детей вытягивали из материнских рук, отдирали от материнских подолов, матери страшно кричали и дети принимались плакать, но это недолго.

Оба Мюллера стояли поодаль от котлована и беседовали о чем-то. Работа шла без перебоев, никаких тревог и забот, и

вид у Мюллеров был беззаботный, и беседа, наверно, была беззаботной, — старший Мюллер общипывал кору с подобранной на земле веточки.

В подходившей партии белокурый Мюллер заметил Цви Довида.

На Цви Довиде был жилет, надетый поверх белой рубахи, — надо же, люди три месяца работали на строительстве «железки», а у него — как на праздник — чистая белая рубаха.

Белокурый Мюллер улыбнулся и сказал что-то старшему Мюллеру. Старший Мюллер тоже улыбнулся и согласно кивнул. Белокурый Мюллер подозвал Цви Довида и показал на невысокий холм некогда выброшенной из котлована земли, уже утоптанной и кое-где поросший травой: «С песней веселее работать — а?»

«Они стреляли, а он пел, — сказала Миреле. — Они стреляли, а он стоял на горке и пел...»

«И что же он пел?» — спросил дядя Боря, у которого Миреле жила теперь здесь, в Москве.

«Не помню, — сказала Миреле. — Что-то он пел, а они стреляли. Может быть, он пел «Шниреле переле, гильдерне фон?...»

Цви Довид стоял на невысоком земляном холме и пел. Он стоял, запрокинув голову, одной рукой придерживал за поля шляпу, чтобы ее, упаси Бог, не сорвало порывом ветра, его рыжая борода, торчавшая из-за ворота рубахи, была устремлена вверх. По обмытому дождями голубому небу тянулись редкие белые облака. Верхушки деревьев тут и там уже тронула яркая желтизна, будто солнце, катясь над лесом, оставляло на них свой след. Цви Довид пел. Его голос возносился в небо, плыл вместе с облаками и снова птицей падал на землю, между стволами деревьев пробирался в глубь леса и, чудилось, вот-вот исчезнет в темной таинственной чаще, чтобы неожиданно-негаданно появиться на опушке совсем с

другой стороны. Голос лился свободно, не затрудняясь и не ослабевая, как лилась живая вода из источника в скале, пробитой посохом Пророка, — невозможно было понять, как человек может дышать, когда так поет.

«Говорили, что он ездил в Варшаву слушать, как поет Сирдта...» — сказал дядя Боря.

«Что значит — слушать, как поет Сирдта? — сердито сказал старый Мендл. — Я тоже слушал, как поет Сирдта!.. Царь Николай Второй слушал, как поет Сирдта!.. Сирдту привозили в Зимний дворец, он там пел, а царь Николай Второй слушал его и рыдал...»

Мы сидели вокруг стола, мне хорошо знакомого. Когда я был мальчиком, родители иногда приводили меня к двоюродному деду. Сколько я его помню, старый Мендл всегда был такой: непременно в этом огромном, не по его игрушечному росту кресле, всегда седая, чистого серебра, борода, стекающая на плечи и на грудь, шумный голос, полные слез глаза.

«Мало ли кто слушал Сирдту! — сердился старый Мендл. — Чтобы стать как Сирдта, как половина Сирдты, как четверть Сирдты, надо научиться так петь, чтобы люди вдыхали твой голос и в них начинало биться твое сердце».

«Это называется в физике резонанс», — со значением сказал дядя Боря. Он работал на электrolамповом заводе и поэтому считал себя физиком.

Бабушка Ханна (дед едва ли доходил ей до плеча) стояла позади Миреле и своей большой рукой тихо гладила ее рыжие вьющиеся волосы.

Миреле привели убивать с последней партией. Цви Довид еще пел, но она его не слышала. Она потом рассказывала, что вообще ничего не слышала и не видела. Их вели — она шла. Обняв ее за узкие плечи и навалившись на нее тяжелым телом, ковыляла на толстых больных ногах госпожа Ойзерник — до Советов она имела бакалейную лавку на Виленской улице. Накануне Миреле почти весь день стирала в холодной

воде немецкие солдатские носки; носки были из грубой шерсти, жесткие и липкие от пота, — теперь на ладонях у Миреле горели волдыри.

Она помнила: литовец в синей фуражке с силой толкнул ее в котлован, поднял руку с револьвером, она споткнулась обо что-то мягкое и упала. И в тот же момент раздался выстрел. Миреле еще не поняла, что жива, как на нее обрушилось тяжелое тело госпожи Ойзерник.

Литовский мальчик лет четырнадцати — наверно, ровесник Миреле — проскочил на своем велосипеде запретные знаки и надписи и остановился, пораженный, среди опущки, в недоумении поворачивая голову, он смотрел то на людей, беснующихся у котлована, то на поющего Цви Довида.

Старший Мюллер проворно выхватил из кобуры на поясе пистолет и выстрелил, не целясь.

Белокурый Мюллер слегка улыбнулся и сказал ему что-то.

«Вы, университетские, чувствительны», — покосился на него старший Мюллер.

В те довоенные, казавшиеся теперь давними, времена родители обычно приводили меня к двоюродному деду в пасхальный вечер. Старый Мендл сидел в своем высоком кресле во главе стола, застеленного не зеленой бархатной, как теперь, а сияющей белизной полотняной скатертью с вытканными на ней узорами. Посреди стола на необычном блюде были разложены необычные кушанья, которые нигде, кроме как на этом столе, мне не приходилось встречать (нас, детей, особенно привлекало необычностью сопряжения основ — варенье из редьки), по правую руку деда лежало несколько дощечек мацы, завернутых в такую же, как скатерть, сияющую салфетку. Бабушка Ханна, высокая, жилистая, с крепкими рабочими руками, ходила вокруг стола, подкладывая разные яства на тарелки гостям, торопилась в кухню, к плите — и возвращалась, неся перед собой на вытянутых руках новое угощение. Дед произносил слова, которые должно произно-

сидеть за пасхальным столом, и без конца отвлекался в пояснения, и сердился, потому что уже мало кто вокруг него помнил то, что нужно помнить, если не всегда, то хотя бы в такой день, и глаза старика были полны слез. Младший его сын, дядя Боря, работал на электроламповом заводе и называл себя физиком, старший, дядя Моисей, вообще был командир Красной армии, носил шпалы в петлицах и приходил поздравить отца не в праздничный вечер, а на следующее утро, уже без гостей.

Теперь мы сидели за этим столом, покрытом зеленой бархатной скатертью, дядя Боря, Миреле и я, и бабушка Хана гладила рыжие волосы Миреле большой жилистой ладонью.

«Когда Бог рассек море мышцей протертой, это не в цирке — сегодня и ежедневно, — выкрикнул старый Мендл. — Это даже вряд ли можно заслужить. И много ли значит праведный Иов на путях Господних?»

Кажется, никто из нас не понял, о чем это он.

Работы было немного, и выполнили ее быстро.

Цви Довида застрелили последнего. Его белая рубаха светлела в яме.

«Я помню этого Цви Довида еще ребенком. Он уже тогда пел, — сказал старый Мендл. — Сходились люди, отец ставил его на табурет, и он пел».

Литовцы потянулись к времянке, оставшейся еще от строителей: там ожидала их бутылка доброго самогона, сало, картошка и прочая закуска; им предстояло забросать котлован землей, но они отложили это на утро, полагая, что до темна не управятся, да, честно сказать, после трудного дня хотелось отдохнуть, поразвлечься разговором.

Немцы рассаживались в свои грузовики.

Когда гестаповцы шли к автомобилю, белокурый Мюллер несколько раз замедлял шаг, поводил головой, будто

прислушиваясь к чему-то; старший Мюллер вышагивал ровно и сосредоточенно, лицо его было нахмурено, и младший Мюллер ничего не сказал ему.

Затархтели моторы машин, колеса мягко шаркнули по песку проселка.

И когда улеглась пыль, стало слышно, как птицей, потерявшей гнездо, летает над поляной, не в силах успокоиться, голос Цви Довида.

Темнело, и, чем гуще становились сумерки, тем громче и отчетливее заполнял их певучий голос. Крепчая и наливаясь силой, он поднимался над землей, вдруг вздрагивал, замирал на миг, словно задохнувшись в плаче, и тут же снова опершись о воздух опавшими, показалось, крыльями, продолжал свой нескончаемый полет. Серебряный месяц поднялся из-за леса и, заслушавшись, остановился высоко над опушкой не в силах продолжать свой путь, — тонкий серебристый покров упал на заполненную телами яму, в которой ярко светилась белая рубаха Цви Довида. Только со стороны времянки раздавались громкие голоса и смех.

«Я проснулась уже ночью, а он поет, — рассказывала Миреле. — Лежит в яме убитый, и на горке никого нет, — и поет. Я тогда потихоньку вылезла из ямы. А госпожа Ойзерник была еще совсем теплая. И пока я шла по лесу, всё слышно было, как он пел...»

«И что же он всё-таки пел?» — дядя Боря недоверчиво поднял острую черную бровь.

«Кто его знает. Может быть, шниреле, переле... мешиах бен Довид... Не помню уже... Он разное пел.»

«Боренька, сыночка мой, я тебя прошу, оставь ребенка в покое. — Бабушка Хана нагнулась и поцеловала Миреле в макушку. — Слава Богу, живая выбралась.»

«Уже яму давно зарыли, он всё пел, — рассказывала Миреле. — Немцы ограждение поставили, но некоторые, окрестные, кто посмелее, подбирались ближе и слышали. Потом,

когда немцев прогнали, туда один наш парень ходил, Меир, — он тоже уцелел: такой, говорит, голос громкий, как будто он рядом стоит, и так поет хорошо. Он меня с собой звал, Меир, но я не пошла. И когда на могилу венок от советской власти клали, тоже не пошла. Я и так всех помню — маму, отца, братика Арошу, бабушку Нехаму... всех...»

Слезы больше не в силах были удерживаться в глазах деда Мендла — выкатились и побежали по седому откоосу бороды.

«Всё-таки странно, — не сдавался дядя Боря. — По законам физики...»

«Физика-музыка... — сердито оборвал его старый Мендл. — Голос — это не физика. Голос — это трепет воздуха. Разве такое может убить железная пуля...»

За стеной у соседей включили радио.

По радио пели про соловьев, чтобы они не будили солдат
Война всё не кончалась.

**СЧАСТЛИВАЯ ПОРА
ДЕТСТВА**

А в Москве допотопный трамвай...

.....

И мы едем, незнамо куда, —

Всё мы едем и едем куда-то...

Давид Самойлов

ЁЛКА

Вечером приходила мама, приносила нечто плоское, завернутое в мешковину, я знаю — *что*, но говорить об этом нельзя, это — страшное, о котором знают и не говорят, страшное, к которому тянет и которое в себе хранят, — как мертвец с гвоздем во лбу, привязанный к мачте корабля, из сказки Гауфа, как та картинка в старом однотомнике Лермонтова (красный переплет, золотое тиснение): перелистывая страницы, я спешу к этой картинке с замирающим сердцем и, взглянув, тотчас судорожно листаю дальше, но уже увидена и схвачена взглядом, памятью, манящая и невыносимо пугающая: Тамара в гробу (я потом узнаю, что это — Врубель). Манящее и страшное там, в мешковине, хочу *этого* и боюсь, за это маму могут в тюрьму посадить, в каменную темницу с зарешеченным окошком под потолком, в такую темницу белые сажали красных, но тут-то мысли сбиваются и путаются, потому что мама за красных, конечно, она была на гражданской войне и даже видела Чапаева; папе за это тоже не поздоровится: выгонят с работы и тогда непременно отнимут у него сверкающие никелем карманные часы с витиеватой вязью «Ударнику» на задней крышке, — часы эти чуть ли не в первый же день остановились и, похоже, навсегда, но торжественно лежат на туалетном столике, гордо именуемом в семействе «трельяж», хотя зеркало было только одно, небольшое и круглое, соединенное с двумя маленькими выдвигаемыми ящичками, в которых лежали мамины бусы из розовых коралловых шариков и другие, из мелкого, как икра, жемчуга, а также пересыпанные табаком и бисером (куда теперь девался бисер?) пуговицы, огрызки карандашей, рецепты с расплывшимися чернилами, написанные сиреневыми буквами на пожелтевших бумажках счета за квартиру.

Хочу увидеть то, что в мешковине, — и страшусь. Белые злобствуют, вот только что убили Кирова, газеты вышли с широкой черной полосой по краю страниц, за окном ветер раздувал на домах красные с черной каймой полотнища, по радио с утра и до вечера играли похоронные марши и рассказывали о похоронах, у меня на подоконнике, месте моих игр и занятий, любимый оловянный солдатик лежал в спичечном коробке, поставленном на постамент, сооруженный из книги, покрытой темно-красной бархатной тряпицей, по краям постамента четыре других солдатика, «почетный караул»: я, кажется, только тогда и узнал все эти странные порознь и еще более в сочетании слова: «на смертном одре» — на верху газетного листа улыбающийся человек в гимнастерке, внизу он же на столе, со сложенными на груди руками — «на смертном одре». Тревога и предчувствие дрожали в моей младенческой душе, пораженной неведением, таким же, впрочем, каким было поражено большинство обкатанных опытом взрослых душ; высидеть дома под тягучие звуки, текшие из поставленного на буфет черного плоского конуса бумажного громкоговорителя, было невозможно, траурные мелодии глубоко вонзались в детское «я», еще не начавшее привыкать к неизбежности, я выбежал во двор, ощущаю безлюдный и гулко продуваемый ветром, и, проскочив его, оказался у ворот, где несколько сгрудившихся людей молча смотрели, как дворник дядя Костя по фамилии Афанасьев, окликаемый жильцами просто именем Афанасий, взобравшись на некрашеную деревянную лесенку, поправляет в кольцах над воротами спутанные ветром красно-черные флаги; лица людей были замкнуты, и от этого волнение души сделалось совсем нестерпимым. По улице прошел отряд красноармейцев в остроконечных шлемах и длинных шинелях. Туманное морозное утро, серая улица, серый, как бы застывший в каждый миг своего движения отряд, — потом все это осталось в памяти высеченным из гранита барельефом на серой стене противоположного дома.

Бежали короткие декабрьские дни, но тревога не отпустила, маленькое сердчишко затягиваемой пружиной все креп-

че сводили напряжение и страх, точно выстрел, убийство, острая весть не позади, а еще впереди; по двору опасно металась странные обрывки слухов, помощник Афанасия, худой мальчик с белой паклей волос и прозрачными водянистыми глазами, с ввалившимися щеками, всегда вымазанными, как у трубочиста, сажей, имени которого никто не знал, потому что все называли его не иначе как Ляля, Ляля этот на диком своем наречии, почти сплошь состоявшем из матерных корней, к которым он ловко прибавлял обильные в русском языке приставки и суффиксы, отчего общий смысл речи становился вполне понятен, этот Ляля вдруг открыл заливавшим на дворовой площадке каток детям и подросткам постарше, что домоуправ Иван Михайлович, суетливый человек в темно-синем полувоенном костюме и высоких хорошо начищенных сапогах, совершенно точно белогвардейский офицер и что он, Ляля, призванный в домоуправову квартиру для передвигания мебели, сам видел на полу случайно оброненную фотографию, запечатлевшую Ивана Михайловича не с кем-нибудь, а с генералом Деникиным; откуда наш Ляля, подобранный Афанасием в асфальтовом котле и водворенный для проживания на верстак в дворницкой, был осведомлен о внешности Антона Ивановича Деникина, и по сей день остается для меня тайной. Впрочем, три года спустя Иван Михайлович и впрямь исчез навсегда; в самом ли деле потому, что неосмотрительно яхшался с добрармейским командующим или других причин оказалось довольно, чтобы причислить его к легиону таких же исчезнувших, Бог весть, и фотография, если и правда была, давно затерялась, конечно, в архивах, но, чтобы покончить с этим, надо сказать, что перемазанный сажей прозрачноглазый матерщинник Ляля, наверно, все-таки возводивший на праплину на суетливого управдома, исчез гораздо раньше, именно в те самые декабрьские дни, как бы сплошь окутанные и спутанные морозной туманной дымкой, о которых речь, — то ли сам ушел, почувствовав некое предназначение, то ли помогла ему прицепившаяся к его дурным мятым губам, обнажившим в кривой улыбке черные корешки зубов, охотно исполняемая им вполголоса частушка, в которой среди всяче-

ского рифмованного сквернословия выстреливало вдруг такое имя, что и нам, детям, понять было невозможно, как язык поворачивался произнести.

Но вот уже и моя няня, крепкая, толстая старуха, целый день попивавшая чаек из огромной фарфоровой чашки с розой на боку, немногословная и дававшая некоторую волю языку лишь изредка, когда, прихлебывая из своей чашки, пускалась в спор с черной тарелкой радиорепродуктора, уличая его в неточностях или неполном знании освещаемой темы, вот и няня моя изрекла вдруг, что мамин приятель, дядя Рубен (мне уже случалось писать о нем), тот самый веселый, черноусый человек в военном френче, галифе и желтых крагах, который, к моему восторгу, непременно затевал со мной французскую борьбу, в долгой схватке одолевал мое упорное сопротивление и, наконец, повергнув меня на лопатки и, скрутив по рукам и ногам, доставал из кармана необыкновенную спичку, чиркал ею о подошву моего ботинка и закуривал в ознаменование победы папиросу, что этот самый дядя Рубен тоже белый офицер. И в тот же декабрь мой собственный дядя, младший брат моей матери, через три года сгоревший от скоротечной чахотки, после того, как его жена, кассирша в москательной лавке, уйдя однажды на работу, не вернулась никогда, дядя мой, счетовод-самоучка, приехавший не то в командировку, не то в отпуск из Сибири в Москву, обнаружил в томе старого энциклопедического словаря, приблудившемся у нас в книжном шкафу, таблицу — флаги государств, а на ней изображение трехцветного флага Российской империи и объявил, что такое в доме держать нельзя, требовал немедленного сожжения если не всей книги, то, по крайней мере, крамольной таблицы и успокоился лишь после того, как залил трехцветную, сине-бело-красную картинку толстым слоем черной туши.

И вот в такой-то декабрь, как всякий год, появляется в доме это тайное и манящее, завернутое в мешковину и ни с чем не сравнимо из глубины мешковины пахнущее. *Это* несут в запроходную комнату, где в углу прижалась и моя маленькая кровать, и после нового напоминания, что только

проговорись — маму в тюрьму, а папу с работы, наконец разворачивают. Там, в мешковине, — еловая ветка, плоская, пушистая еловая лапа; оказавшись на свободе, она встряхивается и расправляется, пошевеливаясь: суровой ниткой ветку пришивают к коврику над моей кроватью — на серой холстине аппликация: белая в коричневых пятнах собака, поджав переднюю лапу, стоит в высоких камышах — копия с картины художника Мако «На стойке». Томительные чудеса продолжают: мама и няня открывают в кухне сундук, большой, зеленый, обитый по краям и крест-накрест по крышке и бортам полосками черной жести, здесь, в сундуке, старые вещи, извлекаемые обычно с появлением Тютельки-в-тютельку — так нарекли в знакомых семействах старушку Пульхерию Андреевну, с мягкими щеками и маленьким впалым ротиком, ходившую по домам и с необычайной изворотливостью и экономией изготавливавшую детские вещи из ношенных материнских платьев и отцовых рубаш и костюмов; выражением «Тютелька-в-тютельку» старушка определяла качество своей тщательной, изощренной выдумками голи рукодельной работы (Пульхерия Андреевна прославилась еще и тем, что во всех домах, где приходилось ей шить, приучала детей к любимому своему блюду — сладкой пшеничной каше, которую должно было есть непременно с хлебом, что, согласимся, при суровостях карточной и пайковой системы было весьма разумно). Из сундука достаются какие-то бабушкины дошки, мамины кофты, папины сорочки с пожелтевшими, как от никотина, пуговицами и отстегнутыми воротниками (воротники разных цветов, перехваченные старым галстуком, лежат отдельно). Каждую вещь мама с няней разворачивают, встряхивая, и, подняв перед собой за плечи, долго исследуют, рассуждая вслух о возможностях дальнейшего ее употребления; наконец, откуда-то с самого дна извлекается прямоугольная жестяная коробка, голубая, с золотой надписью «Халва», из нее вынимают чудом уцелевшие в перипетиях лет елочные игрушки — несколько красных и желтых деревянных вишенок, попарно, по две ягоды, дрожащих на проволочных рогульках-черенках, и зеленые малень-

кие подсвечники в виде сложенных жестяных лепестков на резной по краю тарелочке с острым шипом на другой стороне — шип втыкают в еловую ветку.

На дворе уже совсем поздно — вишенки подвешены, и подсвечники воткнуты в смолистое дерево, и затеплились в них коротенькие обрезки розовых и желтых свечей, принесенных няней из церкви,— это тоже тайна, конечно, потому что церкви, попы, елки — от белых и в газетах пишут про враждебные вылазки с елками. Папа входит в комнату с газетой в руке, снятое пенсне (на переносице по обе стороны красновато-синие вмятины) он цепляет на палец, смотрит на еловую ветку, на дрожащие вишенки и колеблющиеся огоньки свечей, смотрит на окно, тщательно завешенное, на часы с надписью «Ударнику», торжественно красующиеся на туалетном столике, и говорит мне, маме, няне: «С ума вы сходите!..» Но я вижу, что ему нравится.

А следом непременно встает в памяти первая разрешенная елка — тридцать шестого года. Разрешение явилось неожиданно-негаданно, под самый Новый год, и вся страна бросилась делать игрушки — фабричные в тот первый год не успели. В школах, клубах, квартирах после работы, после уроков собирались дети, взрослые, клеили из цветной бумаги фигурки, цепи, резали бахрому, серебрили грецкие орехи (потом в едва заметную дырочку в верхней части ореха, там, где смыкаются половинки, вводили примерочную булавку с петелькой, сквозь которую продевали нитку, чтобы привязывать орехи к ветвям елки, такую же нитку привязывали к пронзенным спичкой мандаринам, к конфетам, ко всему, что только можно было повесить на елку): из запрета, преследования елки в мановение ока превратились в государственную кампанию, и артистка Рина Зеленая, прославившая себя тем, что передавала детскую речь, какой она представляется взрослым и тешит их, ежедневно читала по радио один и тот же написанный кем-то к случаю уморительно смешной монолог затасканного по елочным праздникам ребенка.

Как хорошо никого не бояться!.. У нас дома елка — до потолка, и занавески на окнах — настезь; вдруг выясняется, что

папа умеет делать из цветной бумаги множество великолепных вещей; снимая время от времени пенсне и потирая пальцами мятую переносицу, он изготавливает разноцветные китайские бумажные фонарики в виде гофрированных шаров и цилиндров, мы же с мамой лепим из обрезков фантастических рыб и попугаев. Придя с работы, папа, улыбаясь и подмигивая мне, достает из кармана красивый глянцевый билет с изображенной на нем пестрой украшенной елкой — это меня приглашают на папину работу, там у них елка для детей сотрудников; и мама тоже приносит с работы глянцевый, пестрый билет, и тоже улыбается, и даже громко смеется.

РИТМИКА

Мы собирались в домовом клубе два или три раза в неделю, впрочем, счет дням тогда велся не на недели — пятидневки, шестидневки, теперь кажется, что собирались мы в клубе гораздо чаще — почти каждый день. Тогда была в моде ритмика, детище швейцарца Жак-Далькроза, мечтавшего с помощью системы гимнастических упражнений и физических занятий развивать слух и голос, музыкальное восприятие и музыкальную память, — тогда это очень шло к делу, к идее всеобщности, всехности: все движутся, разводят руками, нагибаются, приседают, все становятся певцами, музыкантами, исполнителями и композиторами, — долой исключительность! — непременно все.

Рядом с ритмикой жил в клубе шумовой оркестр — и мы все оркестранты! — теперь для потомков даже и не «звук пустой», просто ничто; а ведь сколько шуму производили эти шумовые оркестры — имени и то не осталось. Листаю энциклопедии — нет их, умерли, забыты, точно и не было, а ведь были, были,— мысль, что все возможно и доступно всем, тогда энергично в мозгах вращалась. В самом ли деле необходимо иметь какой-то особенный талант, нечто не всем равно данное, чтобы заниматься музыкой? И вот вам шумовой оркестр — барабаны, бубны, никелированные треугольники, на которых даже не слишком битый заяц научался выстукивать ритм, и главный инструмент — мирлитон (так запомнилось мне его имя, а в словарях не найти), красная деревянная трубочка со вделанной в нее пленкой, в трубочку не дули, а тихо гудели мотив, принцип создания музыки тот же, что у гребешка с приложенным к нему листком папиросной бумаги, такие гребешки в составе оркестра тоже были — для тех, кому не достался мирлитон.

Мы собирались в большом прохладном зале, наполненном светом, яростно врывавшимся в помещение и справа и слева сквозь пять пар длинных, горизонтальных, словно положенных набок друг против друга окон, наш шестиэтажный дом возвышался тогда над приземистыми строениями старинной улицы, за окнами и направо и налево раскинулось небо. Мы сбрасывали верхнюю одежду и оставались в майках-футболках, белых с голубым воротником и манжетами на рукавах, со шнуровкой на груди, в черных сатиновых трусах, и тут из-за кулис, из таинственной служебной комнаты, где в углу стояли свернутые флаги с сияющими копьевидными наконечниками, где на полу стояло три больших бюста — позолоченный, белый и черный, будто отливающий машинным маслом, где полки были заняты красными скатертями, графинами, пионерскими горнами, победными кубками физкультурников, бутафорскими предметами взрослой самодеятельности и куда вход нам был заказан, — оттуда, из волшебной служебной комнаты, появлялась миловидная, всегда ровно приветливая женщина Вера Николаевна — прямой правильный нос, правильные линии мягкого рта, светлые глаза, почти немигающие и холодновато-наивные; светлые волосы, которые для красоты слога можно бы окрестить гречишными, гладко зачесаны и собраны на затылке в большой пучок.

Вера Николаевна появлялась приветливая, яркий румянец — всегда будто только что с мороза, улыбчивая и отчасти даже возбужденная, и вместе с каким-то до самого дна проникавшим ее и распространявшимся вокруг уверенным спокойствием. В нас ее появление тотчас воспламеняло чувство первой неосознанной влюбленности, девочки жались к ее длинным ногам, обнимали их и терлись о них, мальчики, едва завидев ее, начинали орать, злобно бросаться друг на друга, попросту носиться, вытаращив глаза, от стенки к стенке, рискуя не рассчитать и разбиться в лепешку. Но Вера Николаевна, как бы не замечая ни наших ласк; ни безумства нашего, никаких иных усилий для установления порядка не

прилагала, только хлопала несколько раз в ладоши и говорила звучно: «Встать в строй, товарищи, а ну, встать в строй!» И вот мы уже стоим по ранжиру и повторяем вслед за ней упражнения ритмики, которые она даже и не показывает, как бы только намечает с видимостью полной отдачи движению, но на самом-то деле лишь расчетливо точным его обозначением, а в углу бренчит на рояле (не на мирлитоне все же гудит) аккомпаниаторша, толстая, аляповато ярко одетая и ярко раскрашенная дама Мальвина, что само по себе смешно, а после вышедшей как раз в ту пору, жадно читаемой и перечитываемой книжки про Буратино и Золотой Ключик, уже немисливо смешно, и до того как Вера Николаевна возникнет на пороге служебной комнаты, мы крутимся вокруг рояля и распеваем: «Мальвина — душечка, Мальвина — красный помидор!» — это намек на ее толстые крашенные щеки, но она то ли не слышит, то ли не понимает, лишь вяло улыбается, пытаясь урезонить нас, и басит: «Дети, хотите, я сыграю вам арию Гремина из оперы Чайковского “Евгений Онегин”?..» — где там «Мальвина — душечка!» — но раз, два, три звенят хлопки Веры Николаевны — и мы в строю, стараемся изо всех сил, разводим в стороны ручки, и нагибаемся, и приседаем, а ну, кто больше — раз и два и три... А впереди самое интересное — недаром, обтягивая картонную форму черной тканью, родители изготавливали мальчикам каскетки, высокие — кивером — фуражки, недаром сочиняли им из колленкора черные перчатки с крагами до локтей, недаром искали для них лягушачьи очки автомобилистов — «консервы», недаром девочкам шили тесные, уголком над переносицей шапочки из черной материи и ту же материю натягивали на проволочные каркасы, получая раздвоенные птичьи хвостики, — ритмика заканчивалась игрой «Автомобили и ласточки»: мальчики в каскетках, крагах и больших ветрозащитных очках-«консервах» были шофёры (тогда чаще произносили «шб́фер», «шоферá»), мы мчались по залу на наших машинах — руки перед собой, как бы на руле, а стайка девочек-ласточек при нашем приближении перепархивала все дальше и дальше.

Где ты, чудо автомобиля! Вот уже и восьмилетний школьник, зажав в потной ручонке рублевку, ловит утром такси, чтобы не опоздать в свою отдаленную от дома спецшколу с преподаванием ряда предметов на иностранном языке. Он не поднимет голову, заслышав в небе гул самолета, как я до сих пор поднимаю, не побежит, как мы в детстве бегали, на отстоящий так, казалось, далеко от снятой на лето хибарки-дачи откос, чтобы долго ждать и дождаться пробегающего внизу поезда и еще издали угадывать тип паровоза, каждый из которых имел еще и особенное прозвище: «Овечка», «Щука», «Сапожок» — иногда я вижу паровозы, проносясь мимо сортировочных и узловых станций; они стоят на запасных путях, полуразвалившиеся, с забитыми досками дверями и окнами, чтобы не пакостили в них случайные прохожие. А автомобиль — «форд» — или «газик» с брезентовым верхом! Забраться в него — величайшее счастье. Отец моего друга детства, врач в ответственной поликлинике, назначенный дежурить на праздники, 7 ноября или 1 мая, берет на заднее сиденье нас, мальчуганов, отправляясь по вызовам на дом к важным своим пациентам, — какое украшение великого праздника! Или — счастливые будни: озабоченный комдив, заскочив под вечер домой пообедать, приказывает шофёру («шóферу») прокатить нас по двору, до ворот и обратно на открытом «линкольне» с никелированной собачкой, вытянувшейся в стремительном беге на пробке радиатора, — где ты, «линкольн», темно-синий, с кофейно-коричневой кожей подушек, где ты, худощавый комдив, с голубым, без кровинки лицом и рыжеватыми усиками под тонким нависшим носом?..

Но для нас и беготня на своих двоих, лишь бы руки перед собой, как бы сложенные на руле, — радость: мчимся по залу, очертя голову, гудим, тарахтим губами. Но «Автомобили и ласточки» не конец занятия, конец — это снова строй, и у каждого в руках барабан, или бубен, или сверкающий треугольник, или, главное, мирлитон: мы превращались в шумовой оркестр и маршировали, выравнивая дыхание, вокруг зала, гудя и выстукивая «Наш паровоз, вперед лети», а потом «Турецкий марш» Моцарта.

В клубе, как водилось, был красный уголок — в точном значении слова, ныне утраченном: не комната с телевизором у стены, газетами и журналами на длинном столе посредине, а именно красный угол — угол, где некогда полагалось бы висеть иконам, теперь же на алом кумачовом полотнище, натянутом в деревянной багетовой рамке, здесь приклеены были портреты вождей — полтора-два десятка глянцевых черно-белых открыток-фотографий усатых по большей части (хотя и с бородками попадались, и вовсе с гладкими лицами) людей в гимнастерках, френчах, пиджаках поверх сорочек или косовороток, имена их были на слуху, и мы, дети, каждого знали в лицо — вожди!..

Но вот что-то происходить стало с нашими вождями, имена, величественные и незыблемые, стали произноситься осудительно, а чаще вовсе не произноситься, школьная учительница командовала заклеить в учебнике портрет на странице такой-то, зачеркнуть фамилию, да чтоб не видно было, помойки по утрам заполнены были книгами, открытками, картинками с теми же портретами, и наша Вера Николаевна время от времени в конце занятий, когда «Турецкий марш» был уже исполнен, оставляла нас стоять в молчаливом, всеми детскими потрохами чувствовавшем ответственность момента строю, сама же, твердо ступая длинными ногами, направлялась к полотнищу красного уголка, сдирала одну из открыток-фотографий и возвращалась к нам, и, когда она снова оказывалась перед строем, в руке у нее была сковородка на длинной деревянной ручке и коробок спичек. Стараясь придать более жесткости линии рта, Вера Николаевна, не показывая нам лица фотографии, комкала ее, бросала на сковородку и чиркала спичкой; она стояла перед строем, держа в вытянутой вперед руке сковородку, над которой поднимался синеватый дымок. «Все, товарищи,— говорила Вера Николаевна. — Разойдись!» И мы расходились, понуро (в течение тех нескольких минут, пока детская радость непрерывного постижения жизни не возобладает в нас) и не ластясь к ней. На красном полотнище в углу оставалась прямо-

угольная белая каемка засохшего клея, а когда мы шумно сбегали вниз по лестнице с шестого — клубного этажа, навстречу нам взбирались наши родители: тогда повсеместно шло всеобщее обучение западным танцам, и те, кому завтра предстояло превратиться в пустую каемочку без имени и лица, старательно учились выделывать ногами па фокстрота, румбы и вальса-бостона «Монтерей» и «Под крышами Парижа».

КОМДИВ

Комдив, как говорилось, был худощав, лицом бледен, под тонким нависшим носом щетинились узкие рыжеватые усики. Наверно, в гражданскую он мчался впереди всех на взмыленном вороном коне (верхом я комдива никогда не видел, но, слушая рассказы его сына Бори, похожие на сцены из кинофильмов, которые мы жадно, не насыщаясь, смотрели бесчисленно раз, я почему-то был убежден, что конь у нашего комдива не белый, не гнедой и не какой еще, а непременно вороной), наверно, в гражданскую комдив мчался впереди всех на своем вороном коне, кричал «За революцию!» или еще что-то, что переполняло его, того более, составляло само его существо и рвалось наружу, чтобы принадлежать всем, всех увлечь, стать существом всех мчащихся следом людей, — «За революцию!», наверно, кричал комдив и, ворвавшись во вражеские цепи, приподнимался на стременах, изгибал, как бы зависая в воздухе, свое узкое, легкое тело, взмахивал сверкающей шашкой и на полном скаку наносил быстрый с оттяжкой удар. Когда комдив поселился в нашем дворе, он ездил на «линкольне», великолепном темно-синем «линкольне», с откидывающимся брезентовым верхом и никелированной собачкой, вытянувшейся в стремительном беге на пробке радиатора.

Нам не случалось наблюдать, как комдив уезжает на работу или возвращается с работы домой, но под вечер «линкольн» обыкновенно привозил его обедать — в эти-то полчасачас комдивов шофер, которого сам комдив, а за ним остальные, и мы, ребята со двора тоже, звали «Егорыч», в эти-то полчаса Егорыч по распоряжению (или, может быть, по решению) комдива катал нас. детвору, на машине...

Прежде чем вылезти из машины, комдив, бывало, чуть наклонится к Егорычу, почти не разжимая тонких, серых губ, выпустит неслышное нам короткое словцо, — «Велел!» — с замиранием сердца угадываем мы (сбившись в кучку, мы нетерпеливо топчемся напротив подъезда у песочницы для малышей, ждем заветного слова), комдив быстрым шагом уходит в гулкую темноту подъезда. Егорыч еще минуту, которая кажется нам нестерпимо долгой, вечностью кажется, томит нас неподвижностью и молчанием, наконец кивает головой: «Налетай!» — мы, отталкивая один другого, наперегонки бросаемся к автомобилю. «Ноги оботрите как следует», — ворчливо приказывает Егорыч — где там! Шаркаем для виду подошвами по асфальту, торопясь втиснуться поскорее в мягкое, обтянутое кофейно-коричневой кожей блаженство: автомобиль плавно трогает с места, проезжает сотню метров по нашему двору, заставленному серыми коробками жилых корпусов, разворачивается и движется обратно к комдивову подъезду. Но иногда Егорыч, по собственной ли охоте или с благословения начальства, позволяет себе вольность: мы выезжаем из ворот, сворачиваем направо, неспешно плывем по улице, вдоль тротуара (и какая радость, если по тротуару идут в это время навстречу ребята с соседнего — враждебного — двора: «Ааа! — орем мы, потеряв разум. — Ээй! Дураки!»); Егорыч слегка поворачивает к нам голову и говорит хриплым, прокуренным голосом: «Щас высажу!»). Автомобиль снова берет направо, в переулок, и почти тотчас еще раз — мы объезжаем по прямоугольнику наш огромный двор, захвативший почти полквартала, теперь мы следуем по «задней» улице, мимо корпуса, где живет комдив. Здесь, на этой улице, всего интересней баня, если из нее возвращаются в недалекие Покровские казармы красноармейцы: они шагают колонной, у них красные после парилки лица, на голове темно-зеленые суконные шлемы, похожие на богатырские, шинели с красными уголками петлиц на вороте туго перепоясаны ремнями, в руке у каждого белеет узелок с бельем. «Принять вправо!» — зычно приказывает командир (улочка узкая), колонна жметса к тротуару, пропуская нашу машину, мы видим, как красноар-

мейцы с восторженным изумлением рассматривают красавец «линкольн» — вряд ли многим из них случалось кататься на легковом автомобиле, а на таком, на «линкольне» с никелированной собачкой на радиаторе, поспорить можно, никому не случилось, и мы, особенно если погода хорошая и верх откинут, напустив на себя равнодушный вид (нам, дескать, не привыкать), прищурясь, напряженно смотрим вперед, точно что-то выискиваем взглядом там, впереди, однако краем глаза успеваем схватить изумление и восторг красноармейцев, отчего наше торжество особенно полно и гордость уже совершенно распирает нас..

Надо сказать, что Егорыч пускал нас только на заднее сиденье, место возле него, на котором всегда ездил сам комдив, оставалось свободным, лишь Боре, если он отправлялся вместе с нами, разрешалось занимать его, и — тогда Боря, сидевший рядом с шофером к напряженно смотревший вдаль, становился главным действующим лицом прогулки, мы же, остальные, семь-восемь человек, кое-как теснящиеся на заднем диване, вдруг начинали ощущать неловкость, какую не испытывали, ходя пешком, вдруг становилось ясно, что эта автомобильная прогулка не более как оказанная нам милость и что все встречные понимают это, от этого делалось стыдно, и мы торопили время, всей душой желая поскорее оказаться опять у себя во дворе, и с неприязнью поглядывали на узкую, как у отца, Борину спину, так некстати оказавшуюся рядом с могучей спиной Егорыча, обтянутой истертой добела черной кожанкой, которую он не снимал ни зимой, ни летом. Боря, впрочем, редко садился с нами в машину: его укачивало; он рассказывал, что, когда летом Егорыч везет его на дачу, то по дороге два-три раза останавливается — так сильно Борю тошнит; нам было такое не понять!..

Очертив квартал, мы наконец добирались до того места, откуда отправились в путь, до подъезда №9 третьего корпуса — здесь на четвертом этаже недавно поселился комдив; все наше путешествие длилось от силы десять минут, но нам оно казалось необыкновенно долгим и далеким, да и теперь, когда я вспоминаю о нем, кажется мне таким,— может быть, оттого,

что все впечатления на пути, и прежде всего сама езда на комдивовском «линкольне», все было ново, требовало для себя пространства. Даже в нынешних моих воспоминаниях является мне не улица «вообще», какой сделалась она для меня за истекшие с тех пор годы и десятилетия, а выпирает навстречу каждым домом в отдельности со всеми его приметам, каждой подворотней и подъездом, каждой витриной и вывеской, чуть ли не каждым пешеходом, что попадался нам тогда, годы и десятилетия назад, и на мгновение замирал, будто схваченный сработавшим зрачком фотоаппарата, при виде темно-синего плывущего вдоль тротуара чуда с никелированной собачкой на радиаторе...

«Шагом марш, не задерживайсь!» — командовал Егорыч своим хриплым голосом, он уже вышел из машины и нажатием сверкающей изогнутой ручки отворил нам дверцу. «Шустрей, шустрей!» — прикрикивал он, не повышая голоса и не изменяясь в лице, — лицо у него было круглое и плоское, как у каменной скифской скульптуры, как у нее, степными ветрами, изъеденное оспой, впрочем, может быть, и теми же степными ветрами — тоже. — Егорыч был вместе с комдивом на гражданской, на одной руке у него не хватало двух пальцев, и лоб был приперчен черно-зелеными пороховыми крапинами: Боря рассказывал, что это от взрыва гранаты, которую Егорыч подхватил у самых ног комдива и отбросил в сторону... «Шустрей!» — командовал Егорыч, и мы нехотя, один за другим, наступив на металлическую с вафельным узором подножку, соскакивали на землю — земля покачивалась под нами, мы чувствовали себя матросами, ступившими на берег после кругосветного плавания. Егорыч маленьким венником выметал из кабины пыль и песок, облетевшие с наших башмаков, с тряпкой в руке обходил автомобиль вокруг, придирчиво его оглядывал, тщательно стирал всякое пятнышко, иногда предварительно плюнув на темно-синюю блестящую поверхность борта; закончив обход, он усаживался на свое место, клал руки на руль и, глядя перед собой, сидел неподвижно в ожидании, пока выйдет комдив.

Наверно, на полях гражданской комдив, лихой и стремительный, мчался на вороном скакуне, крутил в воздухе свер-

кающей стальной полосой шашки и рубил ею наотмашь, — я видел его совсем другого: всегда озабоченного — он шел от подъезда к машине, озабоченно опустив голову, напряженно думая о чем-то неотступном, узкая его спина озабоченно сутулилась, даже походка у него была озабоченная — поспешающая, точно он постоянно куда-то опаздывал, он шел нешироким легким шагом и ноги ставил как-то убористо, попадая одной в след другой. Он носил длинную, командирскую, ладно пригнанную шинель, в петлицах красовались два ромба, и эти его ромбы были *нашими* ромбами, предметом всеобщей нашей ребячьей гордости. «А у нас во дворе комдив живет — два ромба!» — хвастались мы в классе, и было чем хвастаться: не у каждого во дворе есть свой герой гражданской, и не каждый имеет счастливую возможность ежедневно, если захочет, созерцать два ромба на чьих-то петлицах. «Врешь!» — иной раз скажет незадачливый собеседник, но и по лицу его, и по тому, как произносит он свое «врешь», сразу видно: знает, и прекрасно знает, что ты не врешь, просто не хочет признать поражения; у него, у одноклассника, в доме обитает, правда, военный летчик, но до нашего комдива, до его (до наших!) ромбов летчику далеко.

Особенно любили мы, когда в теплые дни комдив появлялся из подъезда без шинели, в гимнастерке — тогда, мало что ромбы в петлицах, мы видели слева, над нагрудным карманом, привинченные два ордена: один — знакомый нам орден боевого Красного Знамени, другой — необычный, вытянутый овалом, — две скрещенные сабли, маленький алый флаг и золотая вязь непонятных букв; по Бороным словам, это был орден Красного Знамени Хорезмской республики, где комдив храбро сражался с басмачами. Орден в ту пору был редкостью, человека с орденом на груди повсюду окружали почетом, на улице ему смотрели вслед, в газетах писали: «колхозник-орденоносец», «летчик-орденоносец», «писатель-орденоносец», тем самым выделяя этих людей из массы просто колхозников, летчиков, писателей; в титрах фильмов ставилось: «артист-орденоносец» — и это было, конечно, совсем не то, что вообще артист. Наш комдив был не только комдив, но еще и «дважды орденоносец» (так тоже тогда писали).

Комдив садился в автомобиль рядом с Егорычем, едва разжимая серые губы, приказывал: «Поехали». Егорыч за козырек пониже натягивал на лоб кожаную фуражку, трогал рычаги, и машина бесшумно и плавно исчезала, оставив после себя медленно тающее в воздухе кольцо сизого дыма.

Боря, сын комдива, был мальчик хилый; он не сторонился наших игр, но, когда мы играли, как-то само собой оказывался в стороне: в прятки его тотчас находили; в казаки-разбойники ловили первого: если мы делились на команды, чтобы погонять на дворовой площадке футбольный мяч, его брали обычно в более сильную команду и ставили в ворота — считалось, что в сильной команде, которая будет нападать, он, стоя в воротах, принесет меньше вреда, а пользы от него не ждали, — но и в воротах, между двумя деревцами с побеленными стволами, Боря держался недолго. После первого забитого гола кто-нибудь из ребят говорил: «Ладно, поди посиди» — и он, ничуть не обижаясь, даже как будто радуясь, что не сам вышел из игры, а был выдворен помимо воли, вприпрыжку отбегал в сторону, усаживался на какое-нибудь бревно или ящик и с очевидным интересом и удовольствием наблюдал, как развиваются события на футбольном поле.

Он смешно бегал — как козленок, припрыгивал, подскакивал на ходу на своих длинных, тонких ногах с выпирающими коленями; когда мы, преследуемые дворником Афанасием или теснимые в битве с ребятами с соседнего двора, оказывались вынуждены спасаться бегством, Боря всегда оставался далеко позади — подпрыгивал, подскакивал, бессмысленно, не в лад бегу, размахивал руками, — впрочем, ни дворник, ни соседские ребята его не трогали, просто как бы не замечали. Мы относились к Боре ровно и доброжелательно, не потому только, что наше к нему отношение замешивалось на почти-тельном восхищении его отцом, хотя, конечно, не обходилось и без этого: Боря отличался необыкновенным миролюбием, никогда ни с кем не спорил, без всякого душевного усилия, с удивительной непринужденностью выполнял все, что от него требовали другие ребята, и всегда пытался делать то, что де-

лают остальные,— правда, старания его редко увенчивались успехом: очень уж он был слаб и, я бы сказал, как-то физически несообразителен.

Лишь иногда, считанно раз, точно какая-то пружинка в нем распрямлялась: он вдруг бледнел, топал ногой и сердито выкрикивал грубое слово — не ту брань, в которой все мы были сызмала изощрены, что-нибудь совсем наивное, «дурака» какого-нибудь или «черта», но в его неизменно вежливой речи и это звучало как удар, или, так же внезапно побледнев, хватал камень и что было силенок в тощих его руках швырял в обидчика, или бросался на него врукопашную и, яростно размахивая кулаками, пока не поистратит пыл, колотил воздух — в драку с ним не вступали, разве что оттолкнут легонько в сторону. В подобных случаях наш дворовый заводила Витька, по прозвищу Петух, а потому именовавшийся и в нашем и в окрестных дворах Петькой, мелкий ростом, но дерзко и отчаянно смелый (он потом утонул, переплывая на спор Москву-реку), Витька-Петька этот в подобных случаях вдруг охватывавшей Борю ярости неизменно с интересом его рассматривал, будто только что увидел впервые, и, утерев ладонью маленький, как пуговица, постоянно мокрый нос, изрекал приговор: «Он, Борька, вообще-то смелый, только руки жидкие». Здесь Витька-Петька подражал дворнику Афанасию: когда кто-нибудь из нас брался помогать ему мести двор или кидать деревянной лопатой снег в снеготаялку, высокий железный ящик на салазках, под которым разводили костер. Афанасий, мужчина огромной силы и неутомимого трудолюбия, сердито басил, подстегивая не поспевавшего за ним помощника: «У тебя что — руки жидкие?..»

Борину мать во дворе называли «персиянкой» — смугло-желтая, черные, резко очерченные полукружия бровей, прямые черные волосы, гладко причесанные и скрученные на затылке в большой тугий узел. У Бори волосы были не черные — темно-каштановые, подстриженные «под челку», «под пчелку», как выражался молодой красивый парикмахер Алеша, орудовавший в крошечной — одно кресло — парикмахерской на углу переулка, наискосок от наших ворот; этот Алеша,

наружностью точь-в-точь великий наш поэт, как изображен он на известной гравюре «Пушкин в юности», не затрудняясь творческими поисками, стриг под эту самую «пчелку» все ребячье население нашего двора и всех близлежащих домов. При темных волосах и смуглости кожи Борины глаза поражали голубизной, от этой темноты волос и смуглости особенно яркой, — когда однажды, садясь в автомобиль, комдив, не поднимая озабоченно опущенной головы, вдруг взглянул на нас, сразу ясно стало, откуда у Бори эта голубизна: сияющие, прозрачно-голубые глаза комдива вместе со взглядом прямо-таки выплеснулись из-под век.

Во дворе комдив ни с кем не разговаривал, да и когда ему было разговаривать — глядя под ноги, сутуля узкую спину, он поспешающим шагом быстро проходил от машины к подъезду и через полчаса-час точно так же от подъезда к машине; в другое время его и не видели. Он и с нами никогда не вступал в беседу: приотворив переднюю дверцу и нащупывая ногой в длинном тонком сапоге металлическую вафельную ступеньку, что-то коротко говорил Егорычу, а уж тот, выждав невыносимо долгую минуту, за козырек потуже натягивал на лоб кожаную фуражку, поворачивал к нам плоское, рябое лицо и командовал хрипло: «Налетай!..»

Напротив подъезда, где жил комдив, как было упомянуто, располагалась песочница, в ней день-деньской копошились малыши под присмотром бабушек и нянек, молодых и старых. Среди нянек находилась и Клавдия, или попросту, по-дворовому, Клавка, юная особа с такими пышными формами, втиснутыми в узкое платье с хозяйкиного плеча, что даже мы, ребята, не проходили мимо нее равнодушно и обменивались между собой шуточками, подслушанными у взрослых парней. Незменные внимание и успех, сопровождавшие Клавку на жизненном пути, сделали ее невоздержанной на язык и решительной в поступках. Однажды под вечер она сидела, лениво развась, на могучей садовой скамье (выкрашенные в зеленый цвет трехдюймовые доски на тяжелом чугунном основании) и делилась планами будущей, исполненной всяческого благополучия жизни с бабой Машей, маленькой старушкой,

главной дворовой сплетницей, обитавшей на первом этаже в том же подъезде, где и наш комдив; между тем ребенок, порученный Клавкиному уходу, ползал у ее ног и возводил грандиозное здание из влажного оранжевого песка, только нынешним утром завезенного дворником Афанасием. Свою лопатку ребенок в порыве увлечения отбросил далеко в сторону, Клавка заметила непорядок, но очень уж не хотелось ей поднимать с приземистой, удобной скамьи свое большое тело; тут на беду из подъезда появился Боря, и девица, привыкшая к беспрекословному повиновению особ противоположного пола, громко ему сказала: «Эй, барчук, подай лопату!» Возможно, она произнесла это без злого умысла, но слово было сказано — Боря вдруг побледнел, взвизгнул, подпрыгивая, подбежал к песочнице и принялся испуганно топтать ногами постройку, над которой старался доверенный Клавке ребенок. Ребенок протяжно заголосил. Клавдия рассердилась, сползла со скамьи, шагнула к Боре и, нимало не задумываясь, с размаху влепила ему звонкую пощечину. Мы и сообразить-то ничего не успели, потому что именно в это мгновение рядом с нами оказался темно-синий «линкольн», передняя его дверца стремительно распахнулась, комдив выскочил из машины, плечи его распрямились, в бешеных глазах металась голубизна. «Не сметь!» — закричал он; не знаю, громко закричал или не очень, это был какой-то особенный крик, точно снаряд просвистел над головой и взорвался неподалеку, и вокруг вдруг возникла звенящая пустота. Я почувствовал, как колени у меня сделались ватные, а комдив еще раз закричал: «Не сметь!», — и новый снаряд пронесся над нашими головами; комдив схватил сына за руку, дернул его так, что Боря едва не упал, и, таща его за собой, шагнул к подъезду. Дверь хлопнула, и, наверно, лишь минуту спустя в повисшей над двором звенящей тишине тонко завывла Клавдия.

Дома у комдива никто из нас не бывал, и все-таки мне довелось однажды: Боря болел и, высунувшись на балкон, попросил меня занести ему какую-то книжку. Я в момент через ступеньку одолел четыре этажа и остановился перед дверью, мне знакомой, — вместо электрического звонка в нее был

вделан кем-то из прежних, давно сменившихся хозяев квартиры старинный бронзовый кружок с ключиком посередине и резной надписью по кругу: «Прошу крутить» — вы крутили ключик, и он, цепляясь за какие-то зубчики или пластинки, издавал мелодичный стрекочущий звук.

До недавних пор, когда в квартире поселился комдив, здесь ненадолго обосновалось семейство немецкого специалиста, эти специалисты («спецы») были приглашены к нам, чтобы помочь наладить разрушенное хозяйство; «спец» привез с собой жену и сына, вихрастого белокурого мальчика в очках на веснушчатом носу; мальчик ходил в клетчатой рубашке и брюках-гольфах на манжетах, застегнутых под коленями. Мальчика звали Григо. Впрочем, может быть, это была его фамилия, но в первый же день по приезде он выбежал во двор и стал радостно знакомиться со всеми: «Здравствуй,— говорил он, — гутен таг!» — тыкал себя пальцем в грудь и представлялся: «Григо» — имя к нему и прицепилось. Григо был на редкость смешной парень, особенно веселило нас, что, кроме Ленина и Сталина, он никого из наших не знал в лицо, да и не слышал почти ни о ком,— страница за страницей он, морща веснушчатый нос, чтобы поправить сползавшие очки, рассматривал наши школьные учебники, долго вглядывался во всякий портрет, потом поднимал глаза от книги и, кто бы ни был там изображен, Пушкин или Шота Руставели, герой революции или один из вождей, непременно спрашивал: «Хороший человек?» — «Хороший! Хороший!» — дружно орали мы, хохоча во все горло. Скоро Григо уехал из нашего дома, то ли нам услуги «спецов» больше не понадобились, то ли свои их отозвали обратно, и они возвратились в Германию. (Где ты, радостный мальчик Григо? Жив ли? Не выпала ли тебе участь в сорок первом снова отправиться в Москву, и не на этом ли пути нашел ты последнее пристанище?..)

Я покрутил ключик, мне отворила дверь Борина мама; дома она не была похожа на персиянку, несмотря на черные волосы и смуглое лицо: на ней были очки, обыкновенные очки, в проволочной оправе, как тогда носили; эти очки ужасно

меня удивили — так они не шли к ней, она, видимо, и сама знала это, — пропуская меня в прихожую, сразу их сняла и сунула в карман белой вязаной кофты.

«А я тетради проверяю, я ведь училка, преподаю немецкий язык, только не детям, а взрослым, в военной академии, красных командиров учу немецкому языку...» Она говорила быстро, частила словами, это было неожиданно, как очки: по двору она всегда проходила молча, ни с кем не останавливаясь и не заговаривая, отчужденно и недоступно.

«Ну, прежде всего, здравствуй. Как тебя зовут? А меня Лидия Прокофьевна. А я терпеть не могу кофе. Пью только чай, с утра до вечера. Борька называет меня Лидия Прочаевна». — Я понял, что это у них такая шутка, что это она меня смешит, но не засмеялся. Огорошенный ее торопливой речью, я растерянно стоял перед ней и протягивал принесенную для Бори книгу. «Ну, что ж ты, проходи вон туда, к Борьке, я его в постель загнала, совсем простужен и все норовит на балкон. Ну, что ж ты стоишь? Он тебя ждет. А я пока чай поставлю. Будем чай пить». Тут, на мое счастье, появился Боря в серой домашней фланелевой курточке, в трусах, в валенках на босу ногу, хотя на дворе стоял теплый сентябрь; шея у Бори была замотана синим шерстяным шарфом. Боря взял меня за руку и повел к себе.

Квартира комдива поразила меня пустотой. Быт наш в ту пору был убог и труден, и именно поэтому перегружен вещами. Всякая вещь казалась необходимой, оттого что доставалась тяжело — негде было достать и не по карману, всякая вещь служила долго и после долго береглась в расчете на то, что, глядишь, еще послужит — можно будет ее починить, переиначить, приспособить к чему-то. Наши шкафы, буфеты, комоды, кладовки, сундуки, шкатулки наполнились старой одеждой, сношенной обувью, ломаной мебелью, битой посудой, бутылками и флаконами, картонными и жестяными коробками из-под разного товара и прочей вроде бы уже непригодной в обиходе, но на всякий случай отложенной про запас утварью — иной раз роешься без спросу в старинном бабушкином комодке, темным утесом занявшем половину прихожей, и в ка-

ком-нибудь ящике, куда припрятаны дамская сумочка со сломанным замком и оторванной ручкой, прохуdivшиеся на пальцах перчатки, связка ключей от уже несуществующих замков, вдруг счастливая находка — часы-ходики, лет десять как переставшие отмерять непрерывное течение времени; выковыряешь из недвижимого механизма одно-другое золотистое зубчатое колесико — и правда, великая ценность: ребята во дворе голову потеряют от зависти.

Быт наш в ту пору был стеснен, заставлен вещами, квартира же комдива гляделась нежилой, свет лился в окна и, не спотыкаясь о мебель, ровно растекался по комнатам, ясно озарял почти ничем не заставленные, от пола до потолка открытые взгляду и от этого казавшиеся очень высокими стены, пространство пола широко раскинулось под ногами, и я вдруг впервые заметил красоту светлого дубового паркета,— такой же был и у нас, но поди разгляди его, пробираясь боком между столом, кроватью и буфетом.

У комдива мебели почти не было: в Бориной комнате узкий кожаный диван, легкая этажерка — наверху книжные полки, внизу — закрытые, вроде маленького шкафчика с дверцей; в столовой застеленный клеенкой квадратный стол, на нем с одного края высилась стопка тетрадей, стояла белая фарфоровая чернильница-непроливайка, лежали ручка и красный карандаш: Лидия Прокофьевна-Прочаевна (а ведь и в самом деле смешно, я не сразу понял, как смешно, — молодец Боря!) — Лидия Прочаевна проверяла здесь работы своих учеников, красных командиров; в углу застеленный красным восточным ковром матрас на деревянных ножках, из-под которого высывался огромный чемодан с ремнями и пряжками.

«Ну, вот и чай! — Лидия Прокофьевна принесла из кухни белый жестяной чайник: на ней снова были очки в проволочной оправе, которые так не шли к ее красивому смуглому лицу, но она, видно, забыла про них и уже не замечала.— Борька, усаживай гостя, я сейчас чашки поставлю, печенье сегодня хорошее достала, в кондитерской, знаешь, на углу, где парикмахерская...» Я хорошо знал эту кондитерскую, ма-

ма иногда давала мне немного мелочи, и я отправлялся туда покупать крошки — эти крошки оставались в плоских ящиках из-под пирожных, когда пирожные были проданы, — ими торговали на вес, особенно ценились крошки от «наполеона» — сладкие, тающие во рту чешуйки, пересыпанные сахарной пудрой. «А, — засмеялась Лидия Прокофьевна, когда я сказал про крошки, — губа не дура, язык не лопатка, знает, где сладко. Но мне тоже повезло — смотри», — из бумажного пакета она вытряхнула в стеклянную мисочку печенье, круглое, похожее на большие ромашки с белой и розовой глазированной сердцевинкой.

«Ты, Борька, хоть бы развлек гостя, ну, что ж ты такой немеха, — зачатила Лидия Прокофьевна, когда чай был выпит, а печенье съедено. — Ну, покажи ему наши фотографии, такие хорошие фотографии, особенно на Дальнем Востоке. Ты не был на Дальнем Востоке? Как мы там хорошо жили, как весело, правда, Борька? Я так не хотела уезжать оттуда...» Я удивился: на Дальнем Востоке я не бывал и, как всякий мальчик, конечно, мечтал о путешествиях, о неведомых краях, но при этом был уже уверен, что все люди на свете в конечном итоге хотят приехать в Москву и поселиться в ней. Боря принес альбом, мы уселись на застеленный красным с узорами ковром матрас и начали его рассматривать.

Ах, что это были за фотографии! У нас дома тоже имелся альбом, вечерами я любил его перелистывать. «Мама, кто это?» — «Это бывший папин директор, он теперь в Воронеже. А это мой приятель, еще по Харькову, когда я училась на — женских курсах...» Папины и мамины знакомые, сослуживцы, родственники... Вот папа у себя в больнице — человек восемь мужчин и женщин в белых халатах сидят перед витриной с муляжами и диаграммами. Вот мы с мамой и бабушкой на даче — устроились на завалинке низкого ветхого домика, который снимали летом. А вот снова мы же, только в палисаднике, у куста цветущей сирени, мы с бабушкой целиком, а мама без головы, голову она вырезала, когда понадобилась фотокарточка для сезонного билета. Только теперь, держа на коленях Борин альбом, я осознал, какими пустячными, какими обык-

новенными снимками был заполнен наш. У нас мужчины в скучных пиджаках, рубашках с галстуками, вышитых сорочках, в серых косоворотках, выглядывающих из-под пиджака, — у Бори сплошь гимнастерки и шинели, остроконечные шлемы и фуражки со звездой, сапоги со шпорами, сабли в ножнах, маузеры в деревянной кобуре. Едва не на каждой странице я останавливался, чтобы перевести дух: да ведь это Щаденко. один из главных командиров Первой Конной, — мне лицо его знакомо по портретам. А это Ока Городовиков, тоже герой-кавалерист, маленький, с раскосым калмыцким лицом и огромными, больше чем у самого Буденного, усами; однажды наш класс водили в Детский театр, и там на спектакле присутствовал Городовиков, в антрактах мы и в буфет не бегали пить лимонад, крутились вокруг него в фойе, чтобы увидеть его ордена, его ромбы — по четыре в каждой петлице! Но в Борином альбоме — потому и дух захватывало — Ока Городовиков из недосягаемого, легендарного героя превратился почти в моего знакомого: вот он. Ока Иванович, держит под уздцы коня, а рядом, тоже с конем на поводу (конь, похоже, правда вороной — на любительском снимке не поймешь) стоит наш комдив.

«А это кто», — спросил я: на фотографии был запечатлен Боря в белой рубашке с большим командирским биноклем на груди, по одну сторону от него стоял отец, а по другую — кто-то удивительно знакомый, — я не мог вспомнить, — с тремя ромбами и тремя орденами Красного Знамени: «Это кто?» — спросил я, заранее замирая от имени, которое сейчас услышу. Боря, кажется, собрался ответить, но в эту минуту Лидия Прокофьевна приблизилась к нам и, положив руку на плечо Боре, склонилась над альбомом. «Кто это?» — переспросил я нетерпеливо и вдруг ясно увидел, как тонкие желтоватые пальцы Лидии Прокофьевны крепко — я почувствовал, что до боли крепко — сдавили Борино плечо. Боря побледнел и отвечал: «Не знаю».

Я присидел в гостях, наверно, около часа, когда в прихожей металлически заверещал звонок. Лидия Прокофьевна сдернула очки и побежала открывать: комдив приехал обе-

дать. Я понял, что мне пора восвояси, но Боре скучно было одному, он не хотел меня отпустить и потащил к себе играть в шахматы. Прежде чем отправиться обратно на службу, комдив появился в дверях Бориной комнаты, с порога, остро прищурясь, кинул взгляд на доску — Борино положение было безнадежно. «Дружишь с Борисом? — обратился он ко мне, никак меня не называя и не спрашивая моего имени. — Он парень хороший. Слабый только. Болеет. Это от климата. То Средняя Азия. То Кавказ. То Дальний Восток». Голос у комдива был жесткий, почти без оттенков, слова он произносил коротко, четко останавливаясь на знаках препинания. «Ты ночью мне звони, каждые два часа звони, я все равно не сплю, я волноваться буду», — из прихожей говорила ему в спину Лидия Прокофьевна. «Ночью надо спать», — комдив едва заметно улыбнулся тонкими серыми губами и весело подмигнул нам с Борей, обжигая меня голубизной глаз. Он небрежно взял под козырек и вышел, притворив за собой дверь Бориной комнаты...

Сначала исчез Егорыч. Однажды вместо него мы увидели за рулем «линкольна» долговязого рыжего парня в сером плаще — на груди аккуратно заправленное под отвороты белое шелковое кашне. Парень делал вид, что читает газету, на самом же деле, развернув ее перед собой, не отрываясь, косился на Клавдию, расположившуюся на любимой скамье против комдивова подъезда и, конечно же, привлекающую внимание новичка своими неотразимыми формами: Клавдия тотчас это заметила и ради кокетства раскрыла над головой черный хозяйский зонтик, хотя дождя не намечалось. «Дядь, прокатишь?» — подступился к незнакомцу наш заводила Витька-Петух, чаще именуемый Петькой. «А по уху не хочешь?» — неласково отозвался новый шофер. Витька-Петька отодвинулся на несколько шагов от машины, провел ладонью по мокрому носу и крикнул: «Рыжий-красный — цвет опасный! Клавка, с рыжим дружбу не води, в лес поманит — не ходи!..» Рыжий, сердито комкая, отложил газету: «А ну, уматывай!..» — он гадко выругался, несмотря на пижонский вид. Витька-Петька тоже рассердился: «Заткнись, а то кирпи-

чом!..» — заорал он во все горло и бросился на задний двор; бежал он так быстро, что рыжий, если бы и захотел, даже на линкольне не догнал.

Так закончились наши путешествия на машине комдива — зато по-прежнему ежедневно, цокая подковами по асфальту, появлялась во дворе серая спокойная лошадка, запряженная в плоскую телегу-платформу на надувных автомобильных колесах: лошадка привозила товары в домовую лавку, размещенную в полуподвале одного из корпусов. Пока возчик перетаскивал вниз коробки и ящики, мы успевали сбегать домой за ломтем хлеба, а кто изловчился, и за куском сахара — лошадка вежливо брала с ладони еду, губы у нее были мягкие, с редкими длинными волосками. Возчиков было двое. Один, старый, с бородой, на возвратном пути брал нас в телегу и вез до ворот: другой, помоложе, без бороды, нипочем не разрешал к себе садиться, когда же мы догоняли телегу и на ходу пытались взобраться в нее, сердито взмахивал кнутом, щелкал им и всячески делал вид, что сейчас огреет; мы бежали следом до ворот, то цепляясь за край телеги и повисая на ней, то соскакивая на землю и отбегая в сторону...

Прошло еще две или три недели — исчез и «линкольн»: не приехал вовсе. На завтра я вернулся из школы, Витька-Петька заговорщицки поманил меня на задний двор, мы втиснулись в узкую потаенную щель между дворничьим сараем к похожей на огромную полукруглую печь каменной помойкой, здесь, в сумрачной, пропитанной запахами отбросов теснине, специально предназначенной для сообщения важнейших секретных сведений. Витька-Петька объявил мне, что комдив наш — нет, уже не наш! — враг народа и арестован. «Что ты, Петька! — заспорил я, хоть и не сомневался, что он говорит правду: враги были повсюду. — Я у них сам видел. Он с Щаденко. С Городовиковым...» — «Прикидывался! — убежденно сказал Витька-Петька и хлюпнул маленьким, как пуговица, носом. — Все они прикидываются...»

Под вечер Боря вышел из подъезда с помойным ведром и, ни на кого не глядя, направился на задний двор. «А ну, иди сюда!» — подозвала его Клавдия, восседавшая на своей ска-

мье, когда он возвращался обратно. Боря побледнел, поставил ведро на землю и подошел к ней. «Что? Где теперь папаша твой? — чтобы все во дворе слышали, загорланила Клавдия, ворочаясь на скамье, потому что не могла сразу стать на ноги. — Где, говорю, папаша твой? Был, да сплыл!» — «Не смей!» — тихо сказал Боря. «Ах ты, вражье отродье! — Клавдия уже прочно стояла на ногах. — И он туда же! Не смей!» Она размахнулась и толстой белой рукой ударила Борю по лицу. Боря не шелохнулся, только еще сильнее побледнел и смотрел ей прямо в глаза своими голубыми глазами. Мы толпились тут же, на другой стороне песочницы: ноги у меня сделались ватными; никто из нас не тронулся с места: мы молчали. «Не смей!» — разжигая себя, насмешливо повторила Клавка и опять ударила Борю по лицу, раз и другой. «Не трожь дитя, кобыла!» — высунувшись в форточку, напустилась на нее сплетница баба Маша с первого этажа. Боря взял ведро и тихо, не хлопнув дверью, скрылся в подъезде...

За ужином мама сказала: «Ты не ходи к Боре в гости, не надо...» — хотя в гостях у Бори я был лишь однажды, и, когда рассказал об этом дома, мама вроде бы очень была довольна и, улыбаясь, выпрашивала у меня, что там у комдива и как. Я покорно и понимающе кивнул головой. «Возмутительно!» — Папа сердито взглянул на маму, отодвинул задрезавший стакан с недопитым чаем и вышел из-за стола.

Больше мы Борю не видели. Он и Лидия Прокофьевна исчезли так незаметно, что во дворе не сразу и сообразили, что их уже нет. Боря ни с кем не простился.

ЛИЛЯ

Вечер в Литературном институте, вторая половина сороковых, вскоре после войны: на сцене, один за другим, студенты-фронтовики, начинающие и только начавшие поэты в полинялых гимнастерках, счастливы, которым довелось услышать не только «до свидания, мальчики», но и «здравствуйте». Наум Гребнев, молодой, горячий красотой и дарованием, читает «Балладу о моем отце» (так, кажется, называлось) — и зал замирает в сладком и опасливом ощущении сопричастности. Там, вдали за строкой, — доверительным, интимным намеком — о том, что в ту пору вслух не произносилось: не названная, за семью печатями, но всеми угадываемая тайна жизни и гибели отца. «И товарищ Менжинский гладил меня по головке и успокаивал бедную маму мою»... А газетные и журнальные статьи гноятся ненавистью к Ахматовой и Зощенко, где-то на задворках этого самого Литинститута ютятся, умирая, окончательно затоптанный за великую свою повесть о возвратившемся с войны солдате Андрей Платонов (тоже — еще молодой: нет пятидесяти).

Но разговор — о Лиле Градовой, моей дальней родственнице, вот уже года два, наверно, не перезваниваемся — жива ли? В старости, как известно, время движется до жути быстро: дел вроде бы меньше, а все — недосуг.

В середине тридцатых Лиля приезжает ненадолго из Америки: то ли отпуск у ее отца, то ли по службе вызвали; мы званы к ним в гости. Мне вручают подарки — прорезиненное пальто замечательного лягушачьего цвета и большого шоколадного коня в раскрашенной фольге (конь долго высился у нас на шкафу, я все не решался, пока однажды не отломил ему хвост, — дальше пошло быстро). На столе — всякая, по тогдашним временам, невидаль (из торгсина или по спецзака-

зу): какие-то упитанные сардины в роскошных баночках «меж сыром лимбургским живым и ананасом золотым», но приманки гастрономии — ничто рядом с рассказами Лилиного отца о необыкновенной стране по ту сторону океана. Леонид Градов, Лилин отец (моя мама помнит его в первые годы после Октября «Толоконниковым», — может быть, и еще какая-нибудь фамилия имелась), — на ответственной заграничной работе: то в Китае, то в Париже, теперь в Америке. Он говорит негромко, склонив набок голову и слегка улыбаясь, будто все, что он рассказывает, кажется ему самому немного смешным. Он курит прямую трубку и время от времени похлопывает ею по ладони, выбивая пепел. Лилина мать, со скуластым смуглым лицом и сияющими черными, чуть навывкате, глазами, вставляет в его рассказ что-то свое, про электрическую плиту, холодильник, пылесос и прочую невообразимость — немного позже прочитаем об этом в «Одноэтажной Америке» у Ильфа и Петрова. А я не в силах отойти от радиолы, которой меня, явно задаваясь тем, что владеет и умеет пользоваться таким чудом, потчует Лиля. В ту пору только что появились отечественные патефоны марки «ТИЗ-прибор», и я, если посчастливилось с разрешением, завожу коленчатой никелированной ручкой пружину («осторожно, лопнет!», — кричат родители), опускаю на пластинку тяжелую мембрану с иглой («не поцарапай!»). А тут Лиля кладет на обтянутый бордовым сукном круг целую пачку пластинок с чудесными яркими наклейками «*His Masters Voice*» (белая собачка, склонив голову, сидит под трубой граммофона), и они звучат одна за другой, радиола сама скидывает уже отыгравшую, ставит иглу на крутящийся черный диск. Лиля обращается к матери по-английски, и я, хлопая глазами, слушаю непонятные слова. Она похожа на мать — такое же скуластое с неправильными чертами лицо, на котором, прежде всего, видишь черные блестящие глаза...

Уже перед самой войной Лиля (в Москве она случайно, живет в Сибири у сестры отца) приносит письмо Леонида Градова из лагеря: он прощается с женой — не знает, что она тоже на каком-то из островов ГУЛАГ'а, — может быть, по соседству. Письмо — карандашным бисером — истертая по много-

численным сгибам половинка тетрадной страницы в клеточку: редко, чудом, невообразимостью, но иной раз, так или иначе, все же добиралась живая весть «оттуда». Леонид харкает кровью, но еще ходит на работы; ноги отморожены — он по-прежнему в тех модных туфлях, в которых его взяли, подошвы совсем прохудились (они с матерью только пришли из театра, — объясняет Лиля, — переодеться не успел). «А Тарасова в тот вечер хороша была», — это вдруг Леонид. Мой отец вскрикивает, не сдерживает слезы; мама мрачно скукожилась, тянет свою беломорину. Лилия, видно, уже привыкла к тексту, читает ровным голосом, без выражения. «Главное — береги себя и Лильку».

Во время войны Лилия учится в Москве, в каком-то техническом вузе. Мест в общежитии мало, ей, дочери врагов народа, в последнюю очередь. Одно время ночует в аудитории: застукали — пригрозили, что выгонят из института, хоть и учится хорошо. Иногда приходит к нам. Ей кладут матрац на полу возле печки — в комнате у нас, как у многих в ту пору, сложенная из кирпича времянка с жестяной трубой в окно. «И под каждым под кустом ей готов и кров и дом», — говорит Лилия, склонив голову набок и сверкая черными глазами. Мне скоро семнадцать, и я долго не могу заснуть, слушая ее сильное дыхание. Однажды она оставляет на хранение стоячий квадратный чемоданчик с патефонными пластинками. «Я его заперла, — предупреждает она меня, — а то заиграешь». Но я умею открывать без ключа и изредка воровато слушаю эти пластинки — с белой собачкой у граммофона на яркой этикетке.

А потом все замечательно налаживается. Лилия заканчивает институт, уезжает в большой областной центр, получает место в НИИ, с годами становится заведующей лабораторией (кажется, даже секретной). Леонида Градова посмертно реабилитируют. Лилина мать возвращается из лагеря, еще долго и благополучно живет с Лилей и счастливо умирает, прямо на партсобрании, — тихо заснув в уголке клуба домоуправления, где она состоит на партийном учете.

И вот уже — девяностые годы. Лилия, совсем седая, но глаза все такие же яркие, приезжает в Москву — провожать кого-

то из друзей, навсегда переселяющихся за океан. «Я им долго рассказывала про американскую жизнь, — посмеивается Лиля, — пока не сообразила, что за шестьдесят лет там, наверно, кое-что изменилось». Она остается у меня ночевать. «Жалко печки нет, — говорит Лиля, — придется мучиться на диване». Но спать не хочется. Мы выпили водочки — и вспоминаем.

— Знаешь, — говорит Лиля, — я расскажу тебе одну историю, которую никогда никому не рассказывала. Теперь уже можно. Отец работал тогда в Париже, и там что-то случилось с нашими агентами. И надо было срочно сообщить в Москву, Менжинскому. Телеграмму не пошлешь, по телефону не позвонишь, — сам понимаешь, какие тогда были средства связи. Отец по каким-то конспиративным соображениям ни в коем случае не мог покинуть Париж. И тогда он решил передать нужные сведения с матерью. Он ее обожал, но рискнул ею, — ты же помнишь, какие это были люди: дело, прежде всего. А для маскировки он и меня послал с нею: respectable советская дама едет с ребенком в Москву. Мама прекрасно одета — шляпка с черной вуалью, лаковые туфли-лодочки, лайковые перчатки. Мне лет семь, благовоспитанная девочка — клетчатое пальто с капюшоном, высокие ботинки со шнурками на крючках, — помнишь, такие? Прямого поезда нет, в Варшаве пересадка. И вот мы идем неторопливо по перрону — привлекательная дама ведет за руку милую девочку, впереди носильщик с дорогим кожаным чемоданом. И тут мама не выдерживает и говорит мне (мне, семилетней!): «Когда мы сядем в тот поезд, — и показывает глазами на состав впереди, — все будет хорошо». А я, семилетняя, все отлично понимаю, и сама всем своим тельцем, только и мечтаю — добраться до того поезда. И тут кто-то сзади: «Мадам». Мама не оглядывается, мы не ускоряем шага. И снова, уже ближе: «Мадам!» Мама так неторопливо, важно оборачивается — польский офицер. Смотрит на маму, улыбается.

И мама улыбается, и я улыбаюсь, хотя мама так сжала мою руку в своей, что я чувствую — еще минута, и я закричу. «Мадам, — говорит офицер по-французски, — вы потеряли перчатку». И протягивает маме перчатку, уж не помню, как

могло случиться, что она ее обронила. Мама приняла перчатку и так ему улыбнулась, что он, я уверена, не забыл этой улыбки до своего последнего часа. И мы неторопливо вошли в кофейного цвета вагон СВ, который тогда назывался «международным». И тогда я вырвала свою руку из маминой ладони, разжала белые слипшиеся пальцы и заорала благим матом...

— А потом?

— А потом мы приехали в Москву, мама ходила к Менжинскому...

— И товарищ Менжинский гладил тебя по головке...

— Что это?

— Так, старинные стихи...

— Знаешь, почему я тебе рассказала это? Я теперь только тем и занята, что вспоминаю, и часто мне кажется, — это был самый счастливый день в моей жизни...

— Лиля, — говорю я, — не стоит мечтать о прошлом, как о будущем, которое не состоялось.

Но Лиля не понимает.

— Самый счастливый! — повторяет она.

И мы выпиваем еще по одной.

ЧЕРТЁЖНЫЙ ШРИФТ

Перед зимними каникулами появился у нас новый учитель черчения. Он был непохож на других учителей. Темное, будто обветренное лицо с резкими морщинами на впалых щеках, прямые седые космы до плеч. Поношенный зеленый френч, галифе, на ногах краги, которые и тогда уже редко кто носил. Мой сосед по парте, похожий на лягушонка смешливый Валя Ушаков, прозвал его почему-то Станционным смотрителем, — это имя сразу к нему прилипло.

Стояла зима 1937 года, страна с грандиозной широтой и торжественностью отмечала Пушкинский юбилей, воздух был насыщен портретами поэта и строками его стихов. Облик Пушкина украшал голубые обложки наших школьных тетрадок, на задней странице печатались произведения, которые мы заучивали, как пионерскую клятву — «Мой друг, отчизне посвятим» или «Во глубине сибирских руд».

Раньше черчение преподавала нам толстая дама по прозвищу Милаша, на ее уроках мы изготавливали красивые орнаменты, которые раскрашивали цветной тушью. Наши творения вызывали неизменные похвалы учительницы: «Это ты, милаша, чудесно сделал», — восторгалась она, помечая едва не каждый предъявленный ей лист своими «хорошо» и «отлично».

Старый Станционный смотритель принес на первый же урок длинную деревянную линейку, два угольника, 45-ти и 30-градусный, и, показывая на доске, как действовать ими, начал учить нас скучному занятию расчерчивать лист под чертежный шрифт. Овладев кропотливым искусством строить одинаково наклоненные клеточки с одинаковыми (0,5 см каждый) промежутками между ними, мы не без радости — это показалось нам все же веселее — принялись, буква за буквой, писать самый шрифт.

Тут подоспела очередная годовщина смерти Ленина, 21 января, в некотором роде ощущаемая как праздник, потому что траурный этот день был выходной, как и следующий за ним, тоже траурный, отданный поминовению «кровавого воскресенья», расстрелу рабочих у Зимнего дворца 9 января 1905 года.

Накануне Ленинского дня к нам в класс обыкновенно приходил отец моего соседа Вали Ушакова — высокий полный человек, с круглым рябым лицом и очень большими кистями рук, непонятно как пролезшими в рукава его коричневого пиджака. Ему было лет сорок, но он именовался «старый большевик». На груди у Валиного отца был прикреплен орден Красного Знамени, — тогда люди с орденом встречались нечасто, их называли «орденоносец».

Валин отец каждый раз говорил одно и то же. Стоя за учительским столом, он спрашивал: «Ребята, кто знает: когда Ильич выступал, как он держал руку?» «Так, так!» — кричали мы разом и вытягивали вперед и вверх правую руку с раскрытой ладонью. «Правильно», — подтверждал Валин отец и толстым пальцем вытирал выступившие на глазах слезы. (Теперь-то я понимаю, что для нас, тогдашних детей, «дедушка Ленин» числился по программе «истории СССР», а для «старого большевика», который был вдвое моложе меня нынешнего, десяток с небольшим лет после смерти вождя промелькнул с непостижимой роковой скоростью, — дорогой Ильич жил в его памяти, ощущаемый почти физически.)

В тот год, о котором я веду рассказ, Валин отец к нам не прибыл; самого Вали тоже несколько дней не было в школе, — кто-то сказал, будто у него скарлатина, и моя мама, врач, тревожилась, что я «подхватил инфекцию». Вместо старого большевика «ленинский урок» провела историчка Мария Адамовна, наша классная руководительница, всегда прямая, подтянутая, неулыбчивая, с холодным профилем камен (черные с проседью волосы гладко зачесаны назад и собраны в пучок) и скучными словами. Много позже, в зрелости, я узнал, что ее отец преподавал в гимназии латынь и писал для подростков книги по истории Древнего Рима. Мария Адамовна говорила про врагов народа, шпионов и диверсан-

тов, к которым все мы должны быть так же беспощадны, как был беспощаден Ленин. Мы это хорошо знали: враги народа то и дело оказывались едва не в каждом подъезде, а на уроках истории мы, по приказу Марии Адамовны, заклеивали в учебнике белой бумагой портреты.

К этому времени мы выучили уже все буквы чертежного шрифта, и Станционный смотритель объявил, что в следующий раз нам предстоит писать большой связный текст к Пушкинскому юбилею. На дом он задал разлиновать лист альбома на восемь строк.

Через несколько дней он вошел в класс, по обыкновению, громко ступая своими подкованными ботинками; туго затянутые ремешками краги облегли его крепкие ноги. Он быстро оглядел нас серыми, яркими на темном лице глазами, приказал: «Пишите!» — и отвернулся к окну. Он стоял, слегка сутулясь, глубоко засунув испачканные мелом руки в накладные карманы своего странного френча, и смотрел на унылое пасмурное небо за окном. Мы ждали, окунув чертежные перья в маленькие кубической формы флаконы с черной тушью. «Пишите!» — повторил он и, еще чуть помедлив, начал диктовать бесцветным, как небо, голосом: «Самовластительный злодей! Тебя, твой трон я ненавижу, Твою погибель, смерть детей С жестокой радостию вижу».

По мере того, как он диктовал, голос его крепнул и наливался выражением; Станционный смотритель не желал этого, и мы чувствовали, как только дети умеют чувствовать внутреннее противоречие в человеке, эту его борьбу с собой, стремление не дать вырваться наружу сжигавшему его огню. И оттого, что мы чувствовали, почти понимали это, стихи отзывались в нас волнением и тревогой, даже страшили нас.

«Не успеваете?» Утишая себя, Станционный смотритель попробовал произносить слова почти по слогам: «Чи-та-ют на твоём челе Пе-чать про-кля-тия народы...», — но Пушкин не позволял, увлекал за собой, и нам в сдерживаемой горячей дрожи голоса учителя черчения открывался какой-то новый поэт, не тот, которого мы представляли себе, заученно повторяя про «обломки самовластья» и «темницы рухнут».

«Ты ужас мира, стыд природы, Укор ты Богу на земле», — в полную силу дочитал Станционный смотритель. Он отступил от окна и смотрел на нас, стоя у доски, под висевшим над ней портретом. Лицо его потемнело еще больше. Седые космы падали на лоб, на глаза. «Кто не успел, закончите дома. Текст найдете в книжке. Сверху надпишете заголовок: Пушкин. Ода «Вольность». Под текстом справа: 1817 год. Работы соберу на следующем уроке». Он провел ладонью по лицу, откидывая волосы. В эту минуту раздался звонок.

А еще через день-другой Мария Адамовна назначила сбор отряда. На сбор пришел и Валя Ушаков. Он, в самом деле, выглядел больным — бледный, осунувшийся, с красными глазами. Мария Адамовна выступала первая. Она сказала, что враги народа особенно опасны потому, что прячутся под личиной честных советских людей, и задача нас, пионеров, под любой личиной распознать их подлую сущность. Она напомнила нам про пионера Павлика Морозова, который распознал в своем отце врага народа и пожертвовал жизнью за победу революции, и вдруг жестким голосом заговорила о нашем однокласснике, пионере Валентине Ушакове: его отец тоже разоблачен нашими славными чекистами как враг народа, а пионер Ушаков годами жил с ним под одной крышей, ел за одним столом, слушал его лицемерные речи, но пионерская бдительность не подсказала ему, с кем он имеет дело. Она попросила пионера Валентина Ушакова объяснить, как такое могло произойти. Валя встал и прошел к доске, будто отвечать урок. «Ребята. Товарищи пионеры, — начал он, опустив голову. Его веселый, лягушачий рот сжался, сморщился в едва заметную точку. — Я признаю свою вину. Я не считаю больше этого человека своим отцом». Он говорил еле слышно, мы бы и не услышали ничего, если бы в классе не стояла страшная, как пропасть, тишина. «Валентин, повтори громче, отчетливее, мы ничего не слышим», — потребовала Мария Адамовна. «Не считаю отцом», — также тихо повторил Валя и заплакал. Председатель совета отряда Алла Кочан прочитала по бумажке постановление сбора: считаем возможным оставить Валентина Ушакова в нашей пионерской организации с испытательным сроком. «Кто за?» — «Все за».

На улице я догнал Валю: «Маугли (так я его называл, потому что — Лягушенок), неужели это правда, что твой папа?..» — «Мой папа... Ты ничего не понимаешь... — Валя схватил меня за рукав. — Мой папа самый честный, самый лучший! Вот увидишь, все выяснится, и его простят. Мой папа Ленина любил, он его охранял в семнадцатом году. Мой папа со Сталиным знаком, даже ехал с ним раз в одной машине...» В голове у меня все смешалось: «Так почему же ты?..» — «Ты ничего не понимаешь! — Валя плакал. — Я же маме дал честное пионерское, что от него откажусь...» Больше я Валю не видел. В школу он ходить перестал. Раза два я позвонил ему, но телефон не отвечал. К тому же моя мама не велела мне звонить Ушаковым.

А вскоре куда-то исчез и Станционный смотритель. Мы в ту пору привыкли, что люди исчезают, и не спрашивали: куда?

СКРИПАЧИ НА КРЫШЕ

Теплой апрельской ночью 1943 года я сидел со знакомой девочкой на крыше нашего семиэтажного дома. Налетов на Москву уже почти не было, лишь изредка расширяющиеся кверху лучи прожекторов начинали метаться по небу, переkreшиваясь на черном просторе серебристыми римскими десятками, тогда с крыши девятиэтажного дома напротив установленный там зенитный пулемет давал несколько очередей, красные и зеленые огоньки трассирующих пуль ровными цепочками уносились куда-то ввысь.

Мы устроились, свесив ноги, на краю покрашенного в красный цвет дощатого помоста. На помосте находились бочка с водой и ящик с песком; тут же имелись наготове большие железные щипцы — ими надлежало захватывать упавшую на крышу зажигалку и затем окунать ее в бочку. На дежурство нам выдавали каждому брезентовые рукавицы.

Мальчики и девочки моего поколения вступили тогда в беспокойную пору юности, и эти ночные часы над темным, с потушенными огнями и плотно занавешенными окнами, городом одаривали нас первой влюбленностью, нечаянными прикосновениями, от которых сладко сжималось сердце, неожиданными разговорами, на которые нипочем не решился бы внизу, на земле, да еще при дневном свете.

Девочку, которая сидела рядом со мной, звали редким именем — Руфь. Я мало, что знал о ней: она появилась в нашем дворе недавно, уже во время войны, и поселилась у мужа и жены Гринтухов, живших на третьем этаже; говорили, будто она приходится им дальней родственницей. Гринтухи были пожилые люди, мне тогдашнему они казались и вовсе старыми. Детей у них не было. Сам Гринтух, известный врач-тера-

певт, пользовал влиятельную клиентуру, его жена, несмотря на возраст, очень красивая и всегда изысканно одетая, имела какое-то отношение к театральному миру. Иногда к Гринтухам приходили известные артисты, и как мы бывали счастливы встретить кого-нибудь из них на дорожке, ведущей к подъезду. Чаше других появлялась миловидная, золотоволосая солистка эстрады Людмила Геоли, мы повторяли с ее голоса и с ее интонациями арии из оперетт — «Карамболину-Карамболету» или «Идет домой красotka, очень кротка, а вслед за ней бежит толпа» и почти причислили ее к жильцам нашего дома; а однажды я сам видел, как через двор, в черном кожаном пальто, шел, опустив голову, показавшийся мне почему-то очень одиноким и печальным, великий Хмелев.

Старики баловали Руфь. Ни одна из девочек нашего двора не была так красиво одета (мое поколение вообще не привыкло к хорошей одежде, в военные годы тем более). Даже на дежурство она явилась в клетчатом пальто с высокими подложенными плечами. Баба Саша, уборщица, досконально осведомленная обо всем, что делается в любой из квартир на всех семи этажах (моя мама именовала ее «Пате-журнал» — так называлась старинная кинохроника), итожила степенно: «Подвезло девице — сыта, одета, обута, и, гляди, какое богатство, все ей достанется».

Во время дежурства — так у нас повелось — мы устраивали маленькую трапезу: каждый приносил с собой что-нибудь из еды, и на подстеленной на помосте газете сервировался общий ужин. Продукты выдавали по карточкам, всякий кусок хлеба в доме был на учете, раздобыть что-нибудь сверх куска хлеба было и вовсе непросто, но, готовясь на дежурство, что-то припасали заранее, а что-то и мама подбрасывала, войдя в положение. Я снял брезентовые рукавицы и выудил из внутреннего кармана телогрейки завернутый в бумагу бутерброд, теплый от долгого прикосновения к моей груди, — два куска серого хлеба, накрытых тонко отрезанными прямоугольными ломтиками американской колбасы. Таковую колбасу в консервных банках — они открывались специальным ключиком, на который наматывалась тонкая полоска жести, — мы получали

по талонам вместо мяса. Руфь тоже достала из висевшей у нее через плечо сумочки на тонком ремешке изрядный сверток: две французских булки (через несколько лет, борясь с космополитизмом, их станут именовать «городскими»), одна с сыром, другая с щедро разделенными напополам крутыми яйцами, и два апельсина. Я сразу понял, что все эти редкости куплены в так называемом «коммерческом» магазине, где без карточек, но очень дорого продавали хорошие продукты. Мы были юны и постоянно голодны: чтобы не уничтожить враз выложенное угощение, мы обычно резали всё на маленькие кусочки и, беседуя, мучительно удерживали руку, так и норовившую схватить один кусочек вслед за другим.

«Ты ешь, — сказала Руфь, когда я, старательно разместив припасы на газетном листе, обтер большой складной нож о рукав телогрейки. — Ты ешь, мне не хочется, я поужинала перед дежурством, вот только апельсин — ладно? — чтобы тебе скучно не было одному». Она взяла дольку апельсина и положила в рот. Я почувствовал себя уязвленным: в том, что произошло, обнаружилось оскорбившее меня неравенство; к тому же я уже заранее мечтал, как весело будем мы уплетать наш роскошный ужин, — съесть всё самому под взглядом этой малознакомой девочки было просто невозможно. Оживление мое исчезло, я пожал плечами, взял крошечный кубик подсохшего серого хлеба с американской колбасой, хотел было подольше его жевать, но не удержался и тотчас проглотил.

«Не обижайся, — сказала Руфь и положила мне на руку свою узкую теплую ладонь. — Сейчас у евреев Пасха, в Песах я не ем хлеба».

«А что же ты ешь?» — ошалев от неожиданности услышанного, спросил я.

«Разве ты не знаешь, что евреи едят в Песах?» — ответила она вопросом.

«Это мацу, что ли?»

«Мацы здесь нет. Поэтому просто не ем хлеба».

«А ты что — в Бога веришь?»

«Не знаю».

Я видел ее узкое лицо, в лунном свете оно казалось совсем белым, блестящие глаза, две небольшие, жесткие, как палочки, косы, торчащие из-под беретки.

«Ты ведь комсомолка, наверно?»

«Но это же совсем другое, неужели ты не понимаешь. Да ты ешь! Так красиво все нарезал...»

Той весной душа моя впервые потянулась к Богу. Я не сознавал этого: для меня настала пора смятенной, ищущей души, — трудно было угадать подлинное в ее сумятице, отделить от тревожащей мельтешни. Но именно тогда я сочинил несколько наивных фраз, в которых просил Кого-то, не называя Его, о чем-то дорогом и важном, — эти фразы я неотступно повторял прежде, чем заснуть, каждый вечер, улегшись на свой диван и укрывшись с головой одеялом. Как-то раз у меня даже завязался с одним школьным приятелем разговор о вере. Приятель, отчаянный атеист, говорил так убежденно, что я, сам пугаясь того, что делаю, предложил ему написать на листке из тетради: «Бога нет» и поставить внизу свое имя. Мой собеседник, не задумываясь, выполнил мое пожелание, я не показал виду, что его смелость меня поразила — сам бы я вряд ли на такое решился.

«У вас дома не справляют Песах?» — спросила Руфь.

«Ты что! Мои родители в Бога не верят. И потом, если узнает кто-нибудь...»

«Дядя тоже не справляет. Говорит: безвозвратное прошлое. А у нас дома всегда справляли, не боялись. Мой дедушка был очень верующий. По субботам ходил в синагогу пешком. Ведь евреям по субботам нельзя ездить ни в трамвае, ни в автобусе. Вообще нельзя. А синагога на другом конце города. Дедушка возвращался поздно, бабушка спрашивала: «Ты там все двери запер?»

«А ты из какого города?»

«Из В. Там сейчас немцы».

«А где же дедушка?»

«Не знаю. Меня перед самой войной отправили в санаторий, и нас успели эвакуировать. Говорят, немцы всех евреев в городе убили. Значит, и дедушку с бабушкой, и маму тоже. Я не верю. Ты ешь».

Я не удержался и взял кусок французской булки с сыром.

«Потом мне помогли узнать адрес дяди, они первую военную зиму были в Куйбышеве, он за мной приехал, и я стала у них жить. На самом деле он мне не дядя, он брат дедушки, но «дедушкой» я его не могу называть. И тетя такая красивая, губы красит, ресницы, — совсем непохожа на «бабушку». Они меня любят. Теперь дядя папу моего ищет. Папа у меня военный инженер, его никогда дома не было. А как война началась, о нем ни слуху, ни духу».

Руфь говорила ровным, негромким голосом, ее бледное лицо было спокойно, большие, ярко блестевшие глаза смотрели куда-то поверх моей головы, руки в брезентовых рукавицах лежали на коленях.

«Ну, ладно, не нужно об этом».

«Ты сама начала», — сказал я грубовато.

Пока она говорила, я незаметно съел всю булку с сыром.

Луч прожектора, вдруг возникнув где-то внизу, за домами, быстро взбирался ввысь, пока не упирался в какую-то нужную ему точку, и неравномерно, покачиваясь и блуждая, начинал бродить по небу, налево, направо, вдаль и обратно, ближе к источнику света, и это его движение явственно очерчивало сферическую чашу опрокинутого над городом неба. Луч то будто рассеивался в вышине, то скользил по серым с яркими подсвеченными краями облачкам, то выхватывал висевшее в воздухе продолговатое серебристое тело аэростата воздушного заграждения.

Эти аэростаты располагались по Бульварному кольцу, весь день, до наступления темноты, подтянутые тросами, они томились на земле, как выброшенные на берег морские чудовища. Возле них стояли деревянные балаганы и брезентовые палатки подразделений обслуживания, в палатках жили девушки-аэростатчицы, страшно соблазнительные в своих обтянутых гимнастерках и подчеркивавших крепкие икры сапогах. Проходя мимо, мы весело их окликали, заговаривали с ними, и, хотя, как я теперь понимаю, виделись им наивными мальчиками, они охотно отзывались на наши приветствия и подмигивания и не прочь были завести недолгую шутовую беседу.

«На Песах все такое особенное, необычное, — сказала Руфь. — Во-первых, весна. И у всех особенное хорошее настроение. И на столе все особенное, не такое, как всегда. И всем весело. Дедушка читает молитвы, а мы песни поем, стихи, считалки. Про кота какого-то злобного, как он козлика слопал».

«Ты умеешь по-еврейски?»

«Нет. У дедушки книжка есть — там по-русски тоже написано. А потом Рувик, мой младший братик, мы с ним Руфь и Рувим, задавал дедушке вопросы: почему мы в этот день едим горькое, почему мацу, а не хлеб? Это он по-еврейски. Его дедушка заставлял выучивать. Всегда самый маленький спрашивает — так полагается».

— А где он сейчас, этот Рувик?

— Там. С нашими. У нас в В.

Вообще-то я немного «косил», делая вид, что вовсе незнаком с обрядами праздника. Раза два-три родители ходили на Песах к одному дальнему нашему родственнику-старичку и брали меня с собой. Старичок, крошечного роста, с большой белой бородой, в черной шелковой шапочке и старинном черном сюртуке сидел во главе стола на обитом зеленым вытершимся бархатом кресле с высокой спинкой и высокими подлокотниками, возле него на белой скатерти лежали несколько листков мацы, покрытые накрахмаленной салфеткой, на странном блюде, разделенном на несколько частей были разложены необходимые яства, жена старичка, тоже маленькая, круглая, с короткими пухлыми руками суетилась, подкладывая на тарелки гостям то мучные шарики, то кусочек фаршированной рыбы, и какой-то мальчик в белой рубашке и, что меня поразило, черном бархатном галстуке-бабочке, какой носят только артисты (больше я этого мальчика никогда нигде не видел), в самом деле, задавал вопросы на непонятном языке, а старичок важно отвечал на них, и, по его команде, все за столом отпивали из стаканчиков красное вино, но все это я наблюдал урывками, без всякого интереса, как что-то «взрослое» и чужое, к чему принудили меня, взяв с собой в гости, папа и мама, которым, по моему разумению и ощущению, все это

тоже было и неинтересно, и ненужно, они просто отдавали долг вежливости родственнику-старичку, с которым их связывало что-то, то ли он приютил папу в первую мировую войну, когда он на пару недель приехал в Москву в отпуск с передовой, то ли еще что-то. Самое же привлекательное на этих праздниках Пасхи, и не только для меня, происходило в соседней комнате большой, захламленной коммунальной квартиры, где обитал старичок: там, в соседней комнате, жил его младший сын Лазарь, еще недавно довольно известный футболист в московской команде «Спартак», а теперь какой-то видный деятель этого общества, друг великих футболистов братьев Старостиных и других, чьи имена мы произносили с неизмеримо большим почтением и интересом, нежели слова застольного ритуала. Лазарь этот был красивый веселый человек, я был по-мальчишески влюблен в него, он, между прочим, умел водить автомобиль, что в ту пору умели немногие, однажды он пригласил меня и папу на матч «Спартак» — «Металлург», мы ехали на стадион в открытой машине, «газике», Лазарь в большой клетчатой кепке небрежно, привалившись к борту машины, крутил баранку руля, а рядом с ним сидела высокая женщина с белыми волосами и накрашенными губами, невероятной, как мне казалось, красоты, — соперничать с ней могла разве лишь Любовь Орлова. Во время пасхального ужина мужчины, особенно те, что помоложе, потихоньку перебирались из-за праздничного стола в комнату к Лазарю, где на столе стоял графин желтой, настоенной на лимоне водки и лежали на больших тарелках обыкновенные бутерброды, ржаной и белый хлеб, а не скучная маца, и шел оживленный разговор о футболе, потому что весна, как раз только начался первый круг первенства, и все про футбол было невероятно увлекательно, в командах произошли перемены, и только недавно приезжали знаменитые баски, и наши победили, а теперь ждали болгар. Там, в комнате у Лазаря, я видел известного спартаковского полузащитника Станислава Леуту, приглашенного, конечно же, не благочестивым старичком и вообще, скорей всего, не ведавшего, по каковому случаю какие-то люди торжественно сидят за столом в соседней ком-

нате. Леута, посмеиваясь и поблескивая стальными коронками, рассказывал что-то про последнюю игру, мужчины, сидевшие вокруг со стопками в руках, восторженно ему внимали. Потом Леуту арестовали, кажется, вместе с братьями Старостинными. Я, конечно, тоже удирал на большую часть вечера к Лазарю, тихий, задумчивый мальчик в белой рубашке и галстуке-бабочке за столом у старичка, посаженный хозяином по левую руку, казался мне чем-то неправдоподобно давним, как какая-нибудь фотография из бабушкиного альбома на сером картонном паспарту с позолоченной тисненой печаткой «Фотографы П. и Л. Пеньковы, преемники Коркина. Город Томск»...

«А под конец говорят: «В будущем году в Иерусалиме». Это чтобы всем евреям встречать там следующую Пасху. Ты бы хотел вдруг попасть в Иерусалим?»

«В Иерусалим?..»

Мне в ту пору как-то и в голову не приходило, что он где-то все еще, в самом деле, существует, этот Иерусалим. Имя города безвозвратно увязло в глубинах страниц учебника древней истории для пятого класса: царь Давид, царь Соломон, Израильское и Иудейское царство. Ах, да, еще и средние века — что-то про крестовые походы, Готфрид Бульонский...

— Знаешь, у нас в классе была до войны одна девочка, Надя Анисимова, так она вместо Готфрид Бульонский сказала Бульон Барбаросса. Она в изложении вместо «Лев Толстой» написала «толстый лев». Представляешь? Учительница прочитала: «Однажды Лев Толстой шел по полю...» — это про репейник. А она пишет: «Однажды толстый лев шел по полю...» Такая дура!..

— А мне хочется в Иерусалим, — сказала Руфь и положила в рот дольку апельсина. — Ну, может быть, не по-настоящему, понимаешь, — как будто во сне. У дедушки была открытка — такая круглая гора и на ней дома, много-много, освещенные солнцем. И весь этот Иерусалим такой круглый и светится. Как огромный апельсин. Понимаешь?

Руфь засмеялась.

— Нет, я бы лучше поехал в Нью-Йорк, — сказал я. — У меня есть фотография — Эмпайр Стэйт Билдинг, самое высокое здание в мире, триста восемьдесят один метр. Представляешь: лифт на сто второй этаж. И потом американцы теперь наши союзники. Но вообще-то я из Москвы никуда не хочу. Мы год в эвакуации были — я еле выдержал...

— И все-таки, давай, — сказала Руфь и протянула мне апельсиновую дольку. — Ну, не в следующем году, когда-нибудь, в этот день — в Иерусалиме.

— Давай, — сказал я. — Я буду Герцог Бульонский, а ты Любовь к трем Апельсинам.

— Когда-нибудь в Иерусалиме!

Мы одновременно, точно осушая бокалы, проглотили по ароматному кисленькому ломтику. Кажется, это был первый кусочек апельсина, который я попробовал с тех пор, как началась война.

— Вы там не целуетесь? Не помешаем?

Мой сосед и одноклассник Петя Миглав с трудом протиснул в треугольное слуховое оконце свои могучие плечи, обтянутые черным матросским бушлатом. Петя занимался тяжелой атлетикой. Следом на крыше появилась Алка Петухова, которую он выдернул из оконца легким движением руки. У Алки были красивые ноги — она носила короткую юбку и даже дежурить на крышу являлась в туфлях на высоких каблучках. Петя с Алкой крутили любовь, все это знали.

— Час ночи, смена, — объявил Петя. — Сдавайте рукавицы.

Я завернул в газету нарезанную булку с яйцом и положил в сумочку к Руфи. Она быстро взглянула на меня, но не возражала. Мы по очереди пролезли в слуховое оконце. Я держал в руке теплую тонкую руку Руфи и, слегка подсвечивая себе фонариком с синим стеклом на лампе, вел ее среди балок и стропил к чердачной двери. Мы неслышно ступали по мягкой пыли, толстым слоем покрывавшей пол чердака...

Скоро Руфь исчезла из нашего дома, так же незаметно, как незадолго перед тем появилась в нем. Баба Саша, «Патежурнал», говорила, будто старик Гринтух разыскал отца де-

вочки, но это мало кого интересовало. Было военное время, люди появлялись, исчезали, а Руфь слишком коротко прожила в доме, держалась несколько особняком и плохо смешивалась с остальными мальчиками и девочками в своем клетчатом пальто с подложенными плечами и сумочкой на длинном ремешке через плечо, — ее быстро забыли. Я, впрочем, иногда вдруг остро и коротко вспоминал, как вспоминают нечто дорогое, неясное и неслучившееся, эти несколько ночных часов на крыше, над затемненным городом, белое узкое лицо девочки, ее жесткие, как палочки косы, торчащие из-под берета, теплую тонкую руку.

И лишь сорок пять лет спустя, в канун праздника Пасхи, когда слева за окном тель-авивского автобуса на круглом склоне горы зазолотились освещенные заходящим солнцем дома, я, впервые въезжая в Иерусалим, подумал о зароненной в ту военную ночь в мою душу мечте об этом городе, похожем на солнце и на огромный апельсин, мечте, то надолго засыпавшей во мне, то вдруг начинавшей остро и невнятно меня тревожить, которой одарила меня девочка с именем библейской моавитянки, прабабушки царя Давида, о чем в ту военную теплую ночь 1943-го года я, конечно, не имел ни малейшего понятия.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

В течение долгой жизни я несколько раз начинал писать стихи, но никогда их не печатал. Нет, однажды все-таки напечатал — в 100-м номере журнала «Крещатик». К тому времени я уже пять лет вообще ничего не писал. И вот теперь — несколько новых стихотворных строк. Они написаны, а, точнее, записаны за какие-нибудь полчаса 25 мая нынешнего 2024 года. Эти стихи являлись мне как бы сами собой от первой до последней буквы и навеяны мыслями о приближающемся дне рождения моего давнего и дорогого друга, японского филолога и переводчицы Дзюнки Ойя. Печатаю эти стихи в книге рассказов о детстве. Заканчиваю тем, с чего обычно начинают.

СТИХИ ДЗЮНКЕ

* * *

Боль — не уходи от меня
Пока ты со мной — я жив
Пока я с тобой — я есть

* * *

Жизнь — ты как ручей
спешишь в ладони мои —
и убегаешь
Мне грустно и хорошо
Не ищу что ищу
Ищу другое — и забываю

* * *

Вспоминаю Японию
в которой никогда не был
а есть ли другая — не ведаю

* * *

Японка — протяни мне руку
из-за морей
расстояния нет
и времени тоже
Есть только мы...

* * *

Всю жизнь я был с Книгой
Но Книга со мной не была
Только жизнь завершая
ловлю я бесценные строки

* * *

не спешу и не медлю
за скользкие камни цепляясь
Жизнь бежит как вода —
у нее дыхание свое...

* * *

Сон подскажи мне —
долог ли путь впереди?..
Если проснусь...

25.05.24

СОДЕРЖАНИЕ

СТРАННИКИ

Выбираясь из непостижимости	9
Пробуждение во сне.....	41
Анна Алексеевна	100
Странники	121
Той зимой	141

СОЧИНЕНИЯ НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ

Уходящая натура.....	159
Музей Анны Франк	165
Трепет воздуха.....	174

СЧАСТЛИВАЯ ПОРА ДЕТСТВА

Ёлка.....	185
Ритмика	192
Комдив	198
Лиля	215
Чертёжный шрифт.....	220
Скрипачи на крыше	225

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Стихи Дзюнке.....	237
-------------------	-----

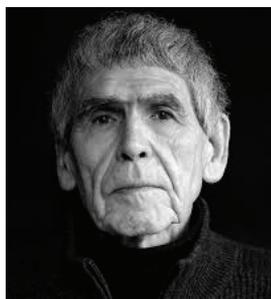
Літературно-художнє видання
СЕРІЯ «Бібліотека “Крещатика”»
Заснована у 2023 році

Владимир
Порудоминский
ПРОБУЖДЕНИЕ ВО СНЕ
(російською мовою)

Макет обкладинки і верстка
Друкарський двір Олега Федорова
Формат 60x84 1/16. Наклад 150 прим. Зам. № 5725
Папір 80 офсет. Друк цифровий. Ум. друк. арк. 15
Гарнітура «Cambria».
Підписано до друку 15.06.2024 р.

Видавець Федоров О. М.,
«Друкарський двір Олега Федорова»
Адреса: а/я 24, Київ-205, 04205, Україна,
e-mail: relaks-oleg@ukr.net
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,
виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції
серія ДК № 3668 від 14.01.2010 р.

Віддруковано в друкарні ТОВ «7БЦ»
Адреса: 07400, Київська обл., м. Бровари, 6-р Незалежності, 2/148
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,
виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції
серія ДК № 5329 від 11.04.2017 р.



ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ПОРУДОМИНСКИЙ — русский писатель, автор научно-популярных и биографических книг. Печатается с 1950. Автор многих беллетризованных биографий, вышедших в популярной книжной серии «Жизнь замечательных людей». С 1994 года живёт в Кёльне.



**ДРУКАРСЬКИЙ ДВОР
ОЛЕГА ОВДОРОВА**

